

распятие



К-38

Г-37

Б-40

РАСПЯТЫЕ

Писатели —
жертвы
политических
репрессий

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ

Захар Дичаров

ВЫПУСК II

МОГИЛЫ БЕЗ КРЕСТОВ

Санкт-Петербург

1994

ББК 83
Р 24

«Виновных судить ускоренно.
Приговор — расстрел».

Иосиф Сталин

(Из рассекреченного архива
вождя народов)

«Господи! Долго ли будешь
смотреть на это?.. Отведи
душу мою от злодейств их...»

Ветхий завет.

Псалом 34-й. 17.

Р 24 **Распятые.** Писатели — жертвы политических репрессий: Могилы без крестов. Вып. II/Захар Дичаров — авт.-сост. СПб.: книгоиздательство «Всемирное слово», 1994 — 215 с. с ил.
ISBN 5-86442-009-3

Во второй части книги — Могилы без крестов — продолжается трагическое повествование о писателях — жертвах сталинских репрессий. О первых годах их творчества и о последних днях их жизни...

УМИРАЕТ ТОТ, КТО ЗАБЫТ

...Мы навечно останемся пылью и шлаком для завязших у нас в неоплатном долгу, но сказать, что согласья является знаком даже наше молчание — я не могу!

Анатолий Клещенко

Эта книга выходит во времена, когда еще не забылись кровавые октябрьские события 1993 года в Москве. Как ураган пронеслась короткая война между прошлым и будущим.

Шли по улицам возбужденные люди, чьи лица исказили ненависть и злоба. Красные флаги, портреты Сталина, эмблемы царской эпохи...

Требовали возврата к прошлому... И, надрываясь от истерических криков, не только требовали, но и стреляли.

Казалось бы, какое эти события имеют отношение к нашей теме, к тем, кто когда-то был истреблен и почти забыт?..

Имеют.

Снова и снова мы обязаны вспоминать о времени, когда царил произвол, ибо оно может повториться.

Безопасность общества зависит от состояния умов. Поняли ли мы это, наконец?!

Чья же вина в том, что сегодняшней подросток, юноша ничтожно мало знают о том, как совсем недавно ломали кости огромной стране, как рвали ее мышцы, калечили мозг? Ничто в сердцах молодого поколения не призывает к миру, добру, познанию, к помощи несчастным...

И не потому ли эти юноши хватают железный прут или заточку и, пьянея от ярости и ненависти ко всему и всем, лезут в драку, вторгаются в строй ОМОНа, крушат, ломают, поджигают?

Вина за это — на нас, на старшем поколении, которое не стало нравственным и духовным мостом между прошлым и настоящим.

Между прошлым старшего поколения и прошлым нынешнего, молодого, — провал. Совершенно очевидно, что изменилось отношение и к былым репрессиям, и к их жертвам. И люди все меньше знают и помнят об этой беде...

Но, может быть, они правы? Сколько можно писать, говорить о тайнах КГБ, о тех ужасах, что он сотворил! Уже не больно. Не ранит. Не щемит.

Устали...

Православная церковь создала «Жития великомучеников» и укрепляла этим духовное сознание народа. На страданиях тех, кто стал жертвой несправедливости, борьбы за веру, за правду, учила терпеливой мудрости, умению выстоять перед насилием.

Древнегреческий историк Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» героев античности воспитывал в новых поколениях силу характера, способность выстоять перед врагом.

Но где же наши Плутархи, и не слишком ли мы медлим с тем, чтобы рассказать о жизненном подвиге тех, кто был частицей нашей истории, нашей культуры?..

Мы назвали нашу книжную серию «Распятые». Распинают, как известно, на кресте. Христианский крест — символ страданий, искупивших грехи человечества. Но также и символ вечной жизни.

Сытые, увешанные наградами высокие чины из НКВД — МГБ — КГБ приказывали на обложках следственных дел осужденных по 58-й статье писать: «Хранить вечно».

Парадокс? Нет, своего рода веление истории.

Молча уходили из жизни те, кому выпал их тяжкий крест. А те, что остались после долголетнего бичевания, несли и несут свой крест в себе. Но всё ли они успели и сумели высказать?..

Теперь о пережитом можно говорить свободно, но как сделать, чтобы рассказанное было слышимо и видимо всему народу? Чтобы их страдания, их подвиг перестали быть безымянными?

Чтобы вечно хранились они на страницах книг...

Больше полувека назад поэт Михаил Иринин, один из тех, кто представлен в этой книге, писал:

Мы отвыкаем ценить вранье.

Стали во всем осторожны, как змеи,

С ужасом слушаем соловьев
И на луну посмотреть не смеем.
Но если оглянешься, там и тут
Растут нетерпение и тревога,
Звери ликуют, камни цветут,
Женщины больше не верят в Бога.
Люди и вещи — обнажены...

Кажется, что эти строки, пронизанные душевной усталостью, угрюмым беспокойством, написаны сегодня. Эти стихи — как предчувствие... И оно не обмануло поэта.

Приведенные строки не вошли ни в одну из его книг. Их перечеркнула красной полосой сталинская цензура. Кто же воскресит их, если не мы?..

Писатель Владимир Дягилев не был репрессирован официально, но сердцем он и его близкие изведали, что такое это 37-й год.

Вдова писателя, Ариадна Дягилева, отец которой, арестованный 1 декабря 1937 года, был уничтожен, вспоминает:

«Страх! Понять тот страх 30—40-х годов тому, кто его не испытал, можно только частично, рассудком, а запомнить это чувство на всю оставшуюся жизнь может только тот, кто непосредственно испытал его в те годы... В обстановке, где сеть доносов заплетена, запутана до предела, где все боялись друг друга, не враг — врага, а именно друг — друга, определить, откуда грозит опасность, просто невозможно. В такой обстановке люди живут постоянно озираясь, испытывая жуткий, животный страх...»

На Морском кладбище во Владивостоке на одной из могил надпись: «Умирает тот, кто забыт». Потрясающе правдивые, трагические слова! Но не забудем и про тот страх!

После того как «Известия» опубликовали небольшую заметку о вышедшей в свет книге «Распятые», выпуск 1 — «Тайное становится явным», я получил письмо от учительницы из Вологды:

«Из газеты узнала об этой книге. Теперь она у меня в руках. Могу сказать — делаете святое дело. Но вот вопрос: Сталин уничтожал лучших рабочих и людей искусства, инженеров и врачей, учителей и писателей, — почему же так мало книг об этих людях? Разве не имеют они права на память?»

Я читал эти строки и с горечью думал: тысячи творцов культуры, творцов самой истории умирали дважды: первый

раз под пулей палача или от лагерной дистрофии, второй раз — убитые забвением.

Да, право на память не записано в Конституции или в каком-то законе. Но оно должно быть в душе каждого человека.

Книги о репрессированных — это только детали на огромном монументе памяти. И они нужны.

Существуют такие понятия, как античная литература, литература Возрождения, советская литература. Вот эту последнюю, следует разделить: та советская, которая известна по школьным учебникам, и та, о которой пора сказать — расстрелянная. Каковы же ее судьбы?

Если говорить о творчестве вычеркнутых из бытия писателей, то за последние годы появились десятки книг, созданных ими в 20—30-е, 50-е годы. Но за бортом культуры все еще остается наука о самой расстрелянной литературе. Существует ли литературоведение, посвященное ей? Ученый секретарь Института русской литературы РАН Виталий Борисович Петухов, с которым мы беседовали по этому поводу, сказал, что разработка тем, связанных с «расстрелянной» литературой, не ведется. Нет средств. И это значит, что за пределами научного процесса остается творчество многих писателей 30—50-х годов, подвергшихся репрессиям.

Книги, подобные той, что вы держите в руках, — это на сегодня и есть единственный «научный институт», который собирает документы и материалы об «изъятых» писателях, рассказывает об их жизни и творчестве.

Из прессы узнал, что в Польше завершена работа над созданием «Книги Памяти», в которую внесены имена всех жертв минувшей войны. Это — не камень, не гранит, не бронза, но — навечно. Во многих тысячах экземпляров. И в сознании миллионов поляков это останется навсегда.

В Польше нашли, что хранить вечно память о защитниках Отечества — дело государственное. Мы еще до этого не дожили...

Нечего и говорить о том, с каким трудом удалось выпустить первую книгу этой серии «Тайное становится явным». Средства на ее издание собирали буквально по рублю. Не нашлось издательства, которое захотело бы выпустить неприбыльную книгу. Нет средств на то, чтобы вступить в борьбу с забвением, воскресить память о тех, кого столкнула в могильную яму рука палача Сталина и иже с ним...

В серию «Распятые», кроме вышедшей уже книги и той, что сейчас перед вами, входят еще выпуск 3 — «Палачей су-

дит время», выпуск 4 — «Когда заговорили мертвые», выпуск 5 — «За незримой решеткой» — о писателях, которые не были репрессированы, но стали изгоями, официально отверженными — Анна Ахматова, Борис Пастернак, Михаил Зощенко, Андрей Платонов, Виктор Некрасов, Александр Солженицын, Марина Цветаева.

Таков замысел. Его осуществление требует больших усилий, активной общественной помощи и немалых затрат.

Газеты «Вечерняя Москва» и «Вечерний Петербург» публикуют списки тех, кто в лихие годы был расстрелян. Колхозники, интеллигенция, рабочие, священнослужители, домашние хозяйки, педагоги...

Гигантский мартиролог из многих тысяч имен. Но как мало узнаём мы о том, кому принадлежат всего несколько строк: имя, возраст, род занятий, место, где проживал. И все.

По всей великой России, как страшные пятна, чернеют известные и еще неизвестные пустыри, усеянные опавшими холмиками.

Могилы...

Поля мертвых, где покоятся останки расстрелянных, умерших в лагерных зонах, в ссылке.

Могилы без имен и дат...

И без крестов.

Мы продолжаем трагическое повествование о писателях — жертвах сталинских репрессий. О первых годах их творчества и о последних днях жизни.

Часть вторая — «Могилы без крестов».

Захар Дичаров



**Георгий
Станиславович
ДИТРИХ**

1906—1943

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Дитрих Георгий Станиславович, 1906 года рождения, уроженец Ленинграда, немец, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1924 года, исключен Октябрьским РК ВКП(б) 13.07.1936 года за связь с врагами партии, писатель, проживал: Ленинград, ул. Пионерская, дом 49, кв. 43

жена — Никитина Валентина Павловна (в 1961 году проживала: Ленинград, Свердловская наб., д. 14, кв. 23)

дочь — Дитрих Галина Георгиевна, 12 (проживала: Ленинград, Пионерская ул., д. 49, кв. 43)

Арестован 11 июля 1940 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 121 УК РСФСР (разглашение сведений, не подлежащих оглашению).

Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 19 октября 1940 года определено содержание в ИТЛ сроком на 5 лет.

Наказание отбывал: Архангельская обл., ст. Плесецкая, Северн. ж/д, п/о «Наволок», п/я № 238/07.

В деле имеется жалоба, из которой следует, что Дитрих Г. С. умер в марте 1943 года.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 7 августа 1962 года постановление Особого Сопещения при НКВД СССР от 19 октября 1940 года в отношении Дитриха Г. С. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Дитрих Г. С. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Дитрих Георгий Станиславович (1906, Петербург — 1943), детский писатель, публицист. Член КПСС с 1924 года. С 12 лет работал по найму. Окончил школу и один курс института. В 1920 году организовал в Донской области детский клуб и был начальником штаба юных коммунистов в помощь ЧОНу. В 1921 году вернулся в Петроград, создал первую в городе пионерскую дружину при фабрике «Красное знамя». Один из основателей газеты «Ленинские искры». Литературную деятельность начал в 1922 году.

Военизация в пионеротряде. Л., 1928 и др. изд.; Конец и начало: Из истории детского движения в Ленинграде. М. — Л., 1929; Казачата: Повесть. М. — Л., 1930 и др. изд.; Военизация в пионеротряде и школе: Опыт военной работы пионеротрядов, школ и детдомов. М. — Л., 1931; Особенный день. Л., 1931. — В соавторстве с Е. Шварцем; Через границы. Л., 1932.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ

Он умер в марте 1943 года, той самой военной весной, когда уже намечался на фронтах перелом перед началом решительных действий Советской Армии. Но место, где проходили его последние недели, было далеко от битв и сражений. Георгий Дитрих находился в то время в Архангельской области, вблизи станции Плесецкая, что на Северной железной дороге.

Весна и здесь давала о себе знать. На солнечной стороне все чаще появлялись пятна подтаивающего снега, ярче и

длинней становились дни, больше света проникало в палаты лагерьной больницы. Человеку, лежавшему на жесткой койке в углу, не спалось — мешали мысли о семье, о дочери, которую оставил ребенком, вспоминалось прошлое...

Он родился в 1906 году в Петербурге. Окончил школу, учился в университете, но недолго. Жизнь складывалась трудно, и уже в 12 лет пришлось думать о куске хлеба — пошел работать по найму.

Революция... Гражданская война... Жизнь помотала Дитриха по разным дорогам, но стало ясно: надо быть вместе с теми, кто видел в борьбе за новую Россию главную цель. 1920 год застаёт его в Донбассе. Шахтерский край кипел в революционном борении.

В ту пору взрослые рано. Четырнадцатилетний Георгий (чаще его называют Юра) организует детский клуб и становится начальником штаба юных коммунистов.

Штаб — не просто название, он придан в помощь ЧОНу — Частям Особого Назначения; в задачу которых входит борьба с бандитизмом, охрана важных объектов, подавление кулацких выступлений.

В 1921 году Георгий возвращается в родные края. В Петрограде голод и холод, не дымят трубы большей части заводов. Но и в этом трудном противостоянии разрухи и созидания все чаще появляются признаки обновления. В числе возрождаемых предприятий — трикотажная фабрика «Красное знамя». Петроградский райком комсомола направляет туда Дитриха для работы с детьми в фабричном клубе. В этом клубе и возникает первая в городе пионерская дружина, организатором и вожатым которой стал Георгий Дитрих. Шел 1922 год.

..Пройдут годы, и появится на прилавках магазинов книжка «Конец и начало. Из истории детского движения в Ленинграде. 1929». Ее автор тот, кто и находился у истоков этого движения, — Георгий Дитрих. Это еще не проза, а комсомольская публицистика, но уже предвестие рождения молодого писателя и журналиста, ибо еще в 1922 году он явился одним из основателей газеты «Ленинские искры».

..Многое можно вспомнить, когда ночи бессонны, а за окнами высокий частокол, с пущенной поверху колючей проволокой и сторожевыми вышками по углам...

Он становится частым посетителем Дома писателя, входит в литературную среду, знакомится с теми, кто уже признан в детской литературе. У него не было возможности получить систематическое образование, но его не оставляла жажда

знаний и первым другом сделалась книга. Читал он много, хотя и беспорядочно. Свою любовь к книге сочетал с другой привязанностью — музыкой. Он играл на рояле, у него был набор гармошек, на которых он импровизировал.

В 1930 году вышла в свет повесть «Казачата» — о питерской ребятне, о ее жизни в годы гражданской войны. Дитрих становится детским писателем. В 1931 году появилась еще одна книга — «Особенный день», а спустя год вышла книга «Через границы».

До середины зловещих 1930-х было еще несколько лет. Но чем ближе к началу массового сталинского террора, тем чаще сжимаются людские сердца — не наступит ли завтра и их черед?

Этот трагический черед приходил к Дитриху дважды. Первый раз его арестовали в 1937 году, но — редкий случай! — в 1938 освободили. Однако пребывание на свободе продолжалось недолго: в июле 1940 года снова арест. На этот раз приговор гласил: «Пять лет исправительно-трудовых лагерей».

В архивно-следственном деле Георгия Станиславовича Дитриха говорится, что он был обвинен и осужден по статье 121 Уголовного кодекса РСФСР — «разглашение сведений, не подлежащих оглашению».

Он был веселый человек, этот литератор, и потому не случайно состоял в редакции замечательных юмористических журналов для детей «Еж» и «Чиж». Не стоит ломать голову над вопросом: какими такими сверхсекретными и государственными тайнами мог владеть детский писатель Георгий Дитрих. Как объяснил мне один сведущий юрист, статья 121 играла роль фигового листка, если не находилось никакой другой «липы», чтобы сфабриковать дело по статье 58. Для НКВД важно было посадить.

Так и поступили.

Один характерный штрих того времени: младшая дочь писателя Ольга Георгиевна передала в Историко-мемориальную комиссию книгу своего отца «Казачата», экземпляр которой хранился в семье. В ней на странице 7 во фразе «На стенке портреты в самодельных рамках: Пушкин, Некрасов, Ленин» слово, следующее за этим, зачеркнуто. Но разобрать удалось. Это слово — Троцкий.

Велик же был страх, если заставлял опасаться даже упоминания имени одного из вождей революции, которого Сталин ненавидел.

Вряд ли Георгий Дитрих, еще в 1936 году исключенный из партии «за связь с врагами ВКП(б)», и заброшенный в 1940 году в один из северных лагерей, сомневался в том, что минет срок и он возвратится к своим близким. Однако на арестантских разнорабочих да еще в войну, когда голод наступал на горло не только блокадному Ленинграду, но и всем почти городам страны, выжить было трудно. Силы начали покидать Георгия Дитриха еще осенью 1942 года. В одном из писем, присланных жене, вскоре после нового, 1943 года, он сообщает: «Пишу эти строки лежа, поэтому не поражайся почерку. Вот уже 33 дня я в больнице, так как больны почки. Была сильная отечность лица и ног».

Но грозные эти симптомы не были следствием почечного недуга — то все сильнее проявляла себя голодная дистрофия, от которой человек неизбежно погибал, если отсутствовало необходимое питание. Дитрих пишет жене о том, что «...крайне трудно сохранить жизнь... Очень и очень нужны сухари, мука, лук, жиры». Но что могла выслать ему жена, которая с маленькой дочкой на руках сама жила в условиях ссылки и не имела ниоткуда помощи?..

Однако и в этом безысходном положении Георгий Дитрих не утрачивает надежду на то, что придет долгожданная свобода и он встретится с семьей. До окончания срока заключения было еще более двух лет, но он уже думает о том, как устроится его жизнь вместе с женой и дочерью, и спрашивает в одном из писем: «...Как с работой? Большая ли деревня, где вы живете? Смог бы я найти хотя бы какую-либо работу? Или надо будет ее искать в другом месте?»

Надежда — единственное, что поддерживало заключенного, и, наверное, Георгий Дитрих верил в то, что дотянет до конца своей трагической «пяtilетки», наступит иное время.

«Родные, держитесь!.. Придет время, и жизнь покажет, что самое главное это то, что через бури и войны удалось сохранить», — пишет он в одном из писем.

Что же было «самое главное»? Гадать не приходится — справедливость. И еще — возмездие палачам. Будь он жив сегодня, мог бы видеть: справедливость наступила, но возмездие так и не постигло палачей...

Захар Дичаров



**Леонид
Иванович
ДОБЫЧИН**

1894—1986

Из книги «Писатели Ленинграда»

Добычин Леонид Иванович (1894, Двинск, ныне Даугавпилс — 1936, Ленинград), прозаик. По образованию инженер-технолог. Работал в Брянске. Начал печататься в 1924 году. Заявил о себе как талантливый и своеобразный писатель — обличитель мещанства.

Встречи с Лиз: Рассказы. Л., 1927; Портрет. Л., 1931; Город Эн. М., 1935.

ТРАВЛЯ, ИЛИ РЕПРЕССИИ БЕЗ АРЕСТА

«...одно высокопоставленное лицо учило меня приобретению перспектив. Под перспективами оно подразумевало: «не одно же плохое, есть хорошее...» В этих едких словах — весь Добычин, талантливый и своеобразный прозаик с трудной литературной судьбой, в чем-то предвещающей судьбу Михаила Зощенко. Оба были сатириками, обличителями, в многоликом мещанстве видели силу, враждебную человеку, культуре. И, как нередко в тогдашние времена, авторов стали отождествлять с их героями: писателей обвинили в нравственных изъянах, которые они высмеивали и осуждали.

Литература о Добычине более чем скудна: несколько убийственно грубых и несправедливых рецензий, краткие доб-

рожелательные упоминания в мемуарах В. Каверина, Л. Рахманова, Г. Гора и недавняя, очень содержательная заметка в «Огоньке» Марины Чуковской. Прижизненны только рецензии, одна из которых называлась «Позорная книга», другая — «Об эпигонстве»: «...книга Добычина — хилое, ненужное детище, весьма далекое от советской почвы» («Октябрь», 1936, № 5).

Сказано это о лучшем произведении писателя — «Город Эн» (1935). А после выхода первого сборника рассказов «Встречи с Лиз» — всего у него три книги — Добычин так объясняет свое состояние М. Л. Слонимскому: «...романа не написал, но теперь (недавно начал) пишу. Но если будет хорошая погода — брошу. Ничего нет, что побуждало бы писать, а время (давно уже Средний Возраст) уходит. Деньги это дает совершенно ничтожные, а шуму больше бывает, когда лягушка в воду прыгнет».

Все видел и понимал этот человек. И на много лет вперед видел свою судьбу: «Если Начальники не пропустят Ерыгина¹, мне, увы, по-видимому, больше ничего не придется печатать: то, что я буду писать впредь, будет тоже недостойно одобрения». Это еще 1924 год. «...мои акции стоят отменно низко, и улучшения оным не предвижу». Это 1926. Первый сборник его рассказов издан в 1927 году, второй («Портрет»), в основном повторяющий первый, — в 1931.

В конце марта 1936 года после собрания, на котором его безжалостно и несправедливо проработали, Добычин исчез, и никто его уже больше не видел. Судя по всему, он покончил с собой. Сведения, собранные по крупицам, рисуют такую картину: из Дома писателя он вернулся к себе (ночью по телефону с ним говорили Чуковские), на столе разложил книги, не принадлежавшие ему, с записочкой в каждой — кому возвратить (рассказывала вдова поэта Бенедикта Лифшица Екатерина Константиновна). Еще раньше, как вспомнил Л. Н. Рахманов, он отдал мелкие долги, затем отправил матери в Брянск свои часы и кой-какие вещи... С ее беспощадного письма в Ленинград и открылось исчезновение Леонида Ивановича Добычина.

Настоящие заметки сложились на основании писем Добычина, переданных автору этих строк вдовой М. Л. Слонимской Идой Исааковной и Леонидом Николаевичем Рахмановым, за что выражаю им глубокую признательность,

¹ Рассказ «Ерыгин» (1924).

а также материалов ЦГАЛИ и Брянского областного архива¹.

Леонид Иванович Добычин (он хотел, чтобы его произведения были подписаны Л. Добычин) родился в Двинске (ныне Даугавпилс) 18 июня 1894 года — это впервые точно устанавливается из письма к И. И. Слонимской. Отец его, рано умерший, был врачом — все, как у героя «Города Эн». По словам знавших его, Добычин окончил Петербургский политехнический институт, но в Брянске, куда семья переехала, по-видимому, во время первой мировой войны, он был мелким служащим. С 1922 по 1925 год — статистик орготдела губернского Совета профсоюзов, затем год без работы, устроился в губстатбюро. В общем даже на фоне тогдашних трудностей жизнь его протекала по худшему варианту.

Только через несколько лет семья (мать, сестра и брат Дмитрий, тоже мелкий служащий губпрофсовета) переехала в квартиру, где у Леонида появился свой угол.

Он был человек не совсем обычного душевного склада: широко образованный, весьма сведущий в литературе, он знал языки — французский, немецкий и латынь, много размышлял, словом, жил напряженной духовной жизнью. И вместе с тем задыхался от одиночества.

Семья решительно не одобряла его стремления к творчеству. Именно поэтому Добычин вел оживленную переписку с семьей Слонимских, Н. К. и К. И. Чуковскими, Е. Л. Шварцем, Л. Н. Рахмановым, Н. С. Тихоновым, Е. М. Тагер.

Однако ни литературные невзгоды, ни нужда не сломили Добычина, не лишили его чувства собственного достоинства (что и сыграло роковую роль в 1936 году). Даже постоянно обращаясь с просьбами — то о напечатании своих вещей, то об ускорении высылки гонорара, то об устройстве в Ленинграде, — он подчеркнуто независим.

В 1934 году Добычину удалось наконец перебраться в Ленинград. Союз писателей дал ему комнату (Мойка, 62). Здесь он очень сблизился с соседом, молодым рабочим Александром Павловичем Дроздовым (в письмах именуется Шуркой). Дроздову посвящен «Город Эн».

Рассказ «Дикие» даже подписан двумя фамилиями: Добычина и Дроздова. Однако и И. И. Слонимская, и М. Н. Чуковская, и Л. Н. Рахманов, у которых я справлялся, весьма скептически отзывались о литературных возможностях добы-

¹ К искреннему горю всех знавших его, Л. Н. Рахманов скончался в 1988 году. Эту статью он прочитал в день отправки в больницу, откуда ему уже не суждено было вернуться.

чинского приятеля, а В. П. Каверин на мое письмо ответил так: «Дроздов был сосед Добычина по квартире и ничего написать он не мог. Добычин был привязан к нему и вследствие этой привязанности поместил его фамилию рядом со своей». Не исключено, что «Дикие» в какой-то степени основываются на рассказах А. Дроздова.

Но тучи уже сгустились над Добычиным. Вот его письмо к писательнице М. Шкапской — крик о помощи, смертельная тоска...

«Дорогая Марья Михайловна.

Если у вас найдется время, напишите мне немножко. Следовало бы извиниться, что я обращаюсь с этим к Вам, и прочее, но я думаю, Вы это примете без извинений.

Мне как-то очень беспокойно, хочется немножко жаловаться, а народу мало.

Кланяюсь Вам. Л. Добычин».

За несколько дней до известной статьи «Сумбур вместо музыки» («Правда» от 28 января 1936 года) в Доме писателя состоялось первое заседание дискуссионного клуба прозаиков, посвященное «Городу Эн». Добычина уже ругали, но топором еще никто не размахивал.

Что сказал о своей книге сам автор, «Литературный Ленинград» не пишет, но оценивает: «Сообщение его было весьма дискуссионным». Попытался как-то прикрыть писателя М. Слонимский: «Добычин взял материал, уже отработанный в литературе, и показывает его новыми приемами. Но я не отношусь к этому как к формальному новаторству». К. Федин отметил, что книга «сделана еще более виртуозно», что «автор нашел гармонию между своей манерой и материалом», однако, впадая в противоречие с самим собой, подвел такой итог: «Добычину надо бежать от своей страшной удачи... Книга Добычина действует как художественное произведение. Но когда прочитаешь эту книгу, остается чувство неудовлетворенности. В каждом отдельном эпизоде книги — разительная реалистическая сила. Но сложенные вместе, они перестают действовать».

...Общее собрание ленинградских писателей началось 25 марта (отчет в «Литературном Ленинграде» за 27 марта) и было продолжено 28, 31 марта, 3, 5 и, наконец, 13 апреля.

Вступительное слово Е. Добина, являвшегося тогда редактором «Литературного Ленинграда», опубликовано в виде передовой статьи. Читать его нынче тяжело. Добычин почему-то оказался главным противником и даже врагом советской ли-

тературы и Советской власти: «Любование прошлым и горечь от того, что оно потеряно, — квинт-эссенция этого произведения, которое можно смело назвать произведением глубоко враждебным нам».

«Конечно, — отмечал докладчик, — этот монстр — одиночное явление в нашем искусстве». Однако в дальнейшем были оглашены имена и других грешников: К. Федина (за «Похищение Европы»), Н. Никитина («Двойная ошибка»), Ю. Германа (рассказ «Валюша»), И. Ильфа, Е. Петрова и В. Катаева (авторов „низкопробного произведения „Богатая невеста“»), Дм. Лаврухина, Б. Корнилова и других. И все-таки то, что выслушал Леонид Иванович Добычин, не сравнимо ни с чем.

«Город Эн», — повторяет и усиливает тон докладчик, — «любование прошлым, причем каким прошлым? Это прошлое выходца самых реакционных кругов русской буржуазии: верноподданных, черносотенных, религиозных».

Н. Я. Берковский, как и Е. С. Добин, впоследствии глубоко переживавший свои тогдашние заносы, выступил не менее хлестко и также не обременяя себя поисками аргументов: «Дурные качества Добычина начинаются прежде всего с его темы... Добычин — это такой писатель, который либо прозевал все, что пришло за последнюю девятнадцать лет в истории нашей страны, либо делает вид, что прозевал...»

Что и как было отвечать униженному Добычину? Он сказал несколько маловразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждение, что его книгу считают идейно враждебной. Вот и все, что мог сказать Добычин в ответ на политическую оценку и суровую критику его книги «Город Эн», формалистическая сущность которой была на собрании доказана. Как это похоже на известный эпизод с М. М. Зощенко!

Что же все-таки за писатель был Добычин? О чем, о ком писал, что хотел сказать своими крохотными рассказами (их всего около 25) и одной частью романа (а пять авторских листов «Города Эн» — это и есть лишь начало его большого произведения)?

Добычин писал очень тщательно, медленно, обдумывая каждое слово. «Роман, — говорит он в одном из писем, — уже начал, уже написано 700 слов».

Проза его так сжата, мельчайшие детали так связаны между собой, так важны для понимания общего замысла, что Добычина почти невозможно цитировать.

Большинство рассказов Добычина написаны между 1923 и 1926 годами. Они рисуют провинцию первых послереволю-

ционных лет, жизнь мелких служащих, канцелярские будни, дворовый уличный быт. Выросший в местах, где издавна соседствовали русские, латыши, поляки, евреи, немцы, Добычин, смеясь над человеческими недостатками, уродствами, без тени иронии или насмешки говорит о национальных укладах жизни, характера, о разных верах. Его оценки основываются на критериях морали. Мещане, обыватели, изображаемые Добычиным, любопытны, но поразительно равнодушны, черствы, невежественны и, конечно, бездуховны. Добычин все это ненавидел и смеялся зло. Он отнюдь не юморист. И если уж ставить его в какой-то литературный ряд, то силой своего неприятия всего античеловеческого, негуманного он приближается к Щедрину.

Роман «Город Эн» — еще один вариант «Детства и отрочества» и одновременно убийственная сатира на последние, самые ничтожные годы самодержавия. Чиновничья тупость, сословные предрассудки, духовная пустота, мракобесие — все это выставлено писателем в отталкивающем, жалком виде. На память приходит «Мелкий бес» Ф. Сологуба: то же человеческое разложение, запустение. Только у Сологуба все впрямую, а Добычин выражает свое отношение обиняком, с помощью иронии.

Произведения Добычина рассчитаны на думающего, серьезного читателя. В годы, когда литература, лишенная больших общечеловеческих проблем, литература угодническая, заслоняла, оттесняла, вытесняла честную литературу, смелую, умную сатиру, Добычин, конечно, не мог прийти к двору.

В 1987 году я ездил в Брянск, пытаюсь получить хоть какие-то новые сведения о Добычине и его семье. В архиве отыскались лишь листы штатного расписания за несколько лет, в которых Добычин занимал последние строки, ведомости на зарплату с его четкой росписью под грошовыми суммами, списки пожертвований в пользу голодающих — и деньгами, и частью продовольственного пайка. Ни один из домов, где он жил, не сохранился. Последний снесли несколько лет назад... И только недавно, из письма М. Н. Чуковской узнал я страшные и окончательные подробности: в 1962 году ей позвонил родственник Добычина и сказал, что мать и сестру Леонида Ивановича «немцы во время оккупации сожгли в брянских лесах, а остальные репрессированы»...

Почти наверняка можно утверждать: Добычина ожидала бы подобная же участь. Его добились, без арестов и выстрелов.

Владимир Бахтин.



**Михаил
Алексеевич
ДЪЯКОНОВ**

1885—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Дьяконов Михаил Алексеевич, 25 июня 1885 года рождения уроженец г. Томска, русский, гражданин СССР, беспартийный, литератор-переводчик, проживал: Ленинград, ул. Скороходова, д. 9, кв. 24

жена — Дьяконова Мария Павловна, 52 года, переводчик, проживала с мужем.

сын — Дьяконов Михаил Михайлович, 1907 года рождения

сын — Дьяконов Игорь Михайлович, 1915 года рождения (в 1954 году проживал: Ленинград, Суворовский проспект, д. 30, кв. 8)

сын — Дьяконов Алексей Михайлович, 1919 года рождения

Арестован 1 апреля 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—6 (шпионаж), 58—10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Особой Тройки УНКВД по Ленинградской области от 15 октября 1938 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 22 октября 1938 года в Ленинграде.

Определением Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 20 апреля 1956 года постановление Особой Тройки УНКВД ЛО от 15 октября 1938 года в отношении Дьяконова М. А. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Дьяконов М. А. по данному делу реабилитирован.

В 1910 году М. А. Дьяконов поступил работать в Азовско-Донской банк, где работал до 1918 года.

В 1918—1919 годах был заместителем управляющего III отделения Народного банка, затем до 1921 года работал в «Автогуже» и «Петрогизе».

В 1921 году — бухгалтер торгпредства в Норвегии, где пробыл до 1926 года.

С 1926 года — помощник коммерческого директора Ленинградского кожтреста.

С апреля 1928 года ведал экспортной работой в торгпредстве в Норвегии.

С 1929 года — в «Экспортлесе», после чего перешел на должность заведующего издательством Арктического института.

С 1934 года — редактор иностранного отдела Гослитиздата.

С октября 1936 года и до ареста не работал, занимался литературной деятельностью и переводами.

ПУТЕШЕСТВЕННИК. ЛИТЕРАТОР

Дьяконов... Дьяконов... Нет, не помню такого писателя... Но что-то в ответ на вопрос брезжит в мозгу. Как северное сияние... Северное сияние? Роюсь на одной из своих книжных полок, нахожу книгу «Путешествия в полярные страны». Помню ее название издавна: она была в библиотеке отца, издана в 1933 году, ну а я родился в 30-м и вскоре также стал ее читателем.

Автор — читаю на обложке — М. А. Дьяконов! Автора я позабыл, но вот увидел на обложке — и сразу вспомнил. Но в том, что позабыл, вины моей, как я понимаю, нет: этого

писателя не помнила наша история, история нашей литературы. По крайней мере, с конца 30-х годов.

А в первой половине 30-х книги Михаила Дьяконова выходили одна за другой, и каждая открывала пылкому юношескому сознанию все новые миры. 1931 год — «Путешествия в полярные страны», 1932 год — «Путешествия в Среднюю Азию от древнейших времен до наших дней», 1934 год — «Четыре тысячи миль на „Сибирякове“».

Имя Пришвина о многом нам говорит. Имя Сергея Маркова тоже достаточно известно. Павел Лукницкий — вот еще один достойный в ряду современных путешественников и в какой-то мере первопроходцев. Но Михаил Дьяконов? Как жаль, что мы почти его не знаем, он рассказывает так много интересного! Я рад ныне напомнить это имя, его можно поставить в ряд таких писателей, как М. М. Пришвин, и одновременно таких ученых, как В. Ю. Визе.

Михаил Алексеевич Дьяконов родился в Томске, в Сибири, 25 июля 1885 года. В Сибири — значит, потомок переселенцев, первопроходцев прошлых веков, — вот откуда страсть к путешествиям! Будущий писатель сначала поступает на экономический факультет Петербургского политехнического института, затем работает экономистом, не бросает эту специальность и после революции. Писатель и экономист? Но это же особенный писатель: писатель-путешественник, писатель-исследователь, писатель-ученый, сочетающий строгий факт и цифру с интуицией и творческой фантазией. Вернее, ставящий их на службу художественному творчеству. И в этом оригинальном есть типичное: вспомним хотя бы того же писателя-ученого Михаила Пришвина.

Михаил Алексеевич начал заниматься переводами книг, чтобы прокормить семью в тяжелые годы гражданской войны (гонораром за один из его художественных переводов был мешок картошки...), но потом увлекся делом и стал одним из лучших профессиональных советских переводчиков. Иногда его работа превращалась в коллективный труд — нужное слово искали жена и сыновья.

Человек должен посадить дерево и вырастить сына, Дьяконов вырастил троих сыновей. Три сына, Михаил, Игорь и Алексей — три поэта; им мы обязаны переводами из Библии и «Гильгамеша», из Шекспира и Фирдоуси, Хафиза, Навои, Джами...

Революция открыла дорогу творчеству Михаила Алексеевича, и в 1920 году еще недавний экономист становится сотрудником Госиздата, затем работает в издательствах «Ака-

демия» и Арктического института. Но в те же 20-е годы успевает восемь лет отдать работе в советском торгпредстве в Норвегии. Уже не экономист, еще не писатель, но уже неутомимый собиратель бесценного материала для будущих первопроходческих книг. Норвегия сыграла самую практическую роль — первыми переводами сыновей были переводы норвежских поэтов, отец навсегда открыл для себя Амундсена.

На переводах некоторых книг М. Дьяконов указывал: «Авторизованный перевод с рукописи». В самом деле, и сыновья уже в ранние свои годы, и отец переводили не с подстрочников, а с оригиналов. Книгу Р. Амундсена «По воздуху до 88° северной широты» с рукописи перевели М. А. и М. М. Дьяконовы (М. — Л., 1926). Так же была переведена и книга Р. Амундсена и Л. Элсворта «Перелет через Ледовитый океан» (М. — Л., 1927). Две книги Амундсена в Ленинграде в 1935 и 1937 годах вышли в переводе М. П. Дьяконовой.

Конечно, Михаил Алексеевич был человеком, самозабвенно любившим книгу. Может быть, мы еще даже не знаем, насколько широко охватывал он не только русскую, но и мировую литературу, но, присматриваясь, мы будем повсеместно обнаруживать его следы. Два тома «Жана Кристофа» Ромена Роллана переведены Михаилом Дьяконовым. Знаменитая «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея тоже в его переводе. Его перу принадлежит и перевод «Джимми Хигинса» Э. Синклера, который был выпущен и отдельным изданием в 1933 году, и в составе Собрания сочинений Э. Синклера тремя годами раньше.

Он перевел также и такие романы, как «Кристин, дочь Лавранса» Сигрид Унсет, «Октябрьский день» С. Хуля, «Товарищ Иетта» Альберта Эдвардса (авторизованный перевод). Если не хватало времени, переводит вместе с сыном — «Волчье логово» О. Бротена, как и две книги Р. Амундсена.

Огромен и труд Дьяконова как редактора. Одни за другими под его редакцией выходят «Избранные драмы» Г. Ибсена (Л., 1935), «Мистерии Кнута Гамсуна» (Л., 1935), «Великий санний путь» К. Расмуссена (Л., 1935), «Пелле-завоеватель» М. Андерсена-Нексе (Л., 1935), «Путешествия и приключения капитана Гаттераса» Жюль Верна (М. — Л., 1936), «Нравы белых» Ленгстона Хьюза (Л., 1936), роман Кнута Беккера «Мир ждет» (Л., 1937), роман Ричарда Олдингтона «Все люди — враги» (Л., 1937).

Он обрабатывает для детей книгу Дж. Байки «Древняя Ассирия». Но ему тесно в рамках прошлого, и тогда появляется книга «Четыре тысячи миль на „Сибирякове”» (Л., 1934).

Сама жизнь побуждала Дьяконова заниматься проблемами Арктики. Перечисляя события своего времени, он называет плавание Амундсена на «Мод», две его воздушные экспедиции, полет к полюсу Р. Бэрда, трансполярный перелет Уилкинса и Эйельсона, экспедицию Нобиле на дирижабле «Италия». Энергичное исследование Арктики началось и в Советском Союзе — изучение Новой Земли, экспедиции на Землю Франца-Иосифа и на остров Врангеля, организация новых полярных станций на Таймыре, Северной Земле, знаменитые спасательные экспедиции на поиски Нобиле и Амундсена. Но и в начале 30-х годов не было ни одной книги на русском языке, которая обобщила бы историю крупнейших полярных экспедиций, в том числе имевших и большое значение русских и советских исследований и открытий, что и побудило Михаила Алексеевича решиться на титанический труд.

В 1928 году в Ленинграде вышла богатая материалом книга А. Александровского и П. Матвеевой «Борьба за полюсы Земли», но в ней говорилось почти только об иностранных исследователях, русские дореволюционные вообще были почему-то забыты, советские возникли лишь в связи со спасением Нобиле. В предисловии к своим «Путешествиям в полярные страны» Дьяконов отметил, что и в иностранных книгах об Арктике не упоминаются русские экспедиции, что и дало ему повод начать свою работу.

«Путешествия в полярные страны» М. А. Дьяконова — это исторический трактат, изобилующий ценнейшими и интереснейшими сведениями, недаром через год после 1-го издания вышло уже и 3-е под редакцией известного советского полярного исследователя В. Ю. Визе.

Научная основательность, но и увлекательность — далеко не все работы дипломированных специалистов могут похвалиться этим. Перед нами вместе с тем и лирическое повествование со страницами, образно передающими трудности полярных исследований: «Когда настала весна, путешественники увидели, что их корабль безвозвратно погиб. Измученные, исстрадавшиеся люди принялись за починку и снаряжение лодок, закончив эту работу к концу июня. Наносимый по временам с северо-востока лед грозил отнять у путешествен-

ников всякую надежду на спасение...»¹ О ком это написано? О путешествии Баренца! Кто еще так писал о путешествии Баренца?

Это — поэма, но это и детектив. Некий энтузиаст вместе с шестью товарищами на небольшом моторном судне из родной гавани уходит в море ночью, — скрытно, тайком от кредиторов, собирающихся наложить арест на судно... Так вводится в повествование великий Амундсен. В конце 30-х годов появится стихотворение К. Симонова об Амундсене, которое будет справедливо расценено, как стремление снять хрестоматийный глянец со знаменитого норвежца. Но это сделал еще в начале 30-х годов Дьяконов.

Писатель чувствует и показывает людей Арктики такими, какими они были, — романтиками и реалистами, необычайными героями и вместе с тем обыкновенными людьми. Веселый, всеми любимый человек, остроумец и неутомимый труженик, он психологически был родственен своим героям — это помогло их понять и отобразить. И сегодня интересен сборник «Дневники челюскинцев», составленный М. Дьяконовым и Е. Рубинчиком (Л., 1935). В книгу вошли дневники, записи, воспоминания 23-х челюскинцев-ленинградцев — О. Ю. Шмидта, секретаря экспедиции, писателя С. Семенова, гидробиолога П. Ширшова, геодезиста Я. Гаккеля, штурмана М. Маркова, механика А. Погосова. Более шестидесяти интересных фотографий — тоже дело рук и стараний составителей.

Три последние книги Амундсена вышли сразу на четырнадцать языках, популярен был он и в нашей стране: только в 20-е годы вышли в Москве четыре его книги. Дело было не только в Амундсене, но и в стремительно возросшем интересе к Арктике, который фокусировался на выдающихся личностях. Ответить читателю Дьяконову было легко, опираясь на интерес к Амундсену еще со времен своей жизни в Норвегии. В 1930 году он выпускает в своем переводе «Мую жизнь» Амундсена, в 1932 году в «Морском сборнике» публикует статью «К двадцатой годовщине открытия Южного полюса Амундсенем». В 1937 году в Москве в серии «Жизнь замечательных людей» Дьяконов выпускает книгу «Амундсен» сорокатысячным тиражом.

И это повествование изобилует подробностями, сообщается, например, что верная «Йоа» имела 47 тонн водоизмещения и 13-сильный мотор. Но подробности — не самоцель, а выявление подлинности ситуаций, в которых и разверты-

¹ Дьяконов М. Путешествие в полярные страны. Л., 1935, с. 42.

валась высота духа. Вот «Йоа» целых 23 месяца зимует у Земли короля Вильяма при температуре, спускавшейся почти до 62 градусов ниже нуля... Вот «Йоа» плывет по незнакомому фарватеру в продолжение трех недель, имея порой под килем всего один дюйм свободной воды... Но вот и апофеоз: однажды путешественники увидели вдали парус. Это была минута торжества и восторга! Северо-западный проход был пройден!

«Он совершил все, что поставил себе жизненной целью. И скрылся из глаз людей в туманной дали, исчез навеки на пути в Арктику...»¹. Такой высокой поэзией заканчивается эта книга. Но в образности — и призыв: продолжать этот путь в Арктику! Дьяконов напоминает, например, что начальник советской колонии на острове Врангеля приехал в полярные края прямо из Туркестана, — и вам, мол, читатели, путь к подвигу не заказан! Прошлое служит настоящему. Книга играет и пропагандистскую роль.

«Наконец, путешественники увидели вдали парус» — эта строка из жизни Амундсена, написанной Дьяконовым, звучит, как эпитафия к работе советского автора. Через тернии к звездам — этот давний девиз наполнился новым смыслом в эпоху челюскинцев и папанинцев, и увиденный после трудного пути долгожданный парус освобождения дышал новой, неведомой Лермонтову с его балтийским парусом силой. Преодоление любых трудностей во имя великой цели — этому учит нас творчество Дьяконова, его герои. Как жаль, что он не смог написать о новых героях его любимой Арктики в годы Великой Отечественной войны! Героях славного Диксона, выдержавшего блокаду с моря, героях того же «Сибирякова», который не спустил флаг перед фашистским рейдером и атаковал его...

Мы говорим, что писателю трудно найти героя, обрисовать его достойно. Но творческая фантазия поможет обобщить прототипы, добавить своего, что-то попросту присочинить. А как быть, если герой уже задан, когда ты пишешь документальное произведение о нем, где отсебятина невозможна, зато реальна опасность сделать повествование скучным, протокольным. Трудна задача писателя-документалиста, в сущности он как бы и не должен быть собственно писателем, должен быть архивариусом, документоведом, но если он, не отвлекаясь от буквы документа, не нарушая ее, умеет ярко раскрыть его дух, — это и есть настоящее творчество.

¹ Дьяконов М. Амундсен. М., 1937, с. 301.

Среди героев Дьяконова — Баренц и Беринг, Нансен и Амундсен, Гудзон и Норденшельд, Прончищев и Лаптев, Чirikов и Чичагов, Андрэ и Расмуссен, Кук и Пири. Какое разнообразие характеров, путей и судеб! Одно это перечисление есть уже признание писательского подвига. А он ведь не только называет, но — рассказывает, и рассказывает интересно, вдохновенно, увлекательно.

За тремя изданиями книги «Путешествия в полярные страны», за книгами об Амундсене и «Сибирякове» в 1938 году Архангельское книжное издательство выпускает книгу М. Дьяконова «История экспедиций в полярные страны». Эти книги, хотя бы частично, должны быть переизданы. Они говорят об Арктике, но их пафос созвучен пафосу и межпланетных перелетов. Уже после войны на русском языке вышли книги польских исследователей Алины и Чеслава Центкевичей об Арктике; считалось, что это лучшие книги об Арктике. Да, если не знать работ Дьяконова. Разумеется, у них больше сведений, чем у Дьяконова, — сколько времени прошло и какого времени! Все это так, но книги Дьяконова были написаны раньше, и за ним остается слава создателя первого обобщенного труда об истории Арктики, остается безусловный приоритет применительно к Арктике. И не только к Арктике. Еще в 1932 году была издана книга Дьяконова «Путешествия в Среднюю Азию от древнейших времен до наших дней». Страннический темперамент сибиряка не мог ограничиться одной, хотя бы и необъятной Арктикой. Книга издается для самого широкого читателя как приложение к журналу «Вестник знания». Как живо пишет автор, достаточно сравнить с другими его описания путешествий Афанасия Никитина или Арминия Вамбери! И он сам поощряет то волнение, с каким читают о приключениях знаменитых путешественников и мореплавателей, переживая вместе с ними опасные столкновения с туземцами, подъемы на высочайшие горы, переходы через вечные полярные льды...

Вечные полярные льды — без них нельзя никак! Теперь мы знаем, какими кровавыми были 30-е годы, но в вечных льдах Арктики люди и тогда были настоящими героями. За один только 1936 год самолеты в советском секторе Арктики прошли свыше двух миллионов километров, что вдвое больше, чем за десять предшествующих лет — с 1924 по 1934 год. И если действительно никто не забыт, и ничто не забыто, то это должно относиться и к героическим освоителям той громадной страны, в которой мы живем.

Как писал Дьяконов, Амундсен погиб, отправившись на

помощь тому, кто отравил последние годы его жизни, старался больше задеть и обидеть его. Вот что особенно задело Дьяконова, в этой совестливой чуткости — он сам, его душа. Душевно и психологически тонко говорит он о своих героях.

Дьяконов вновь и вновь обращался мыслью к Северу и видел его чистое небо — единственным на свете. У Петра I нашлись достойные наследники в деле освоения Арктики, и небо ее видело действительно необычайное — походы «Сибирякова», «Литке», «Челюскина», «Геоργия Седова», транс-континентальные перелеты В. Чкалова и М. Громова, дрейф папанинской льдины, за которым следил поистине весь мир. Многие вы увидите в последней книге Дьяконова, ставшей его завещанием.

Найдите эту книгу, прочитайте. Это будет для вас подлинным открытием Арктики! Да и Антарктики впридачу. Это изумительная книга, может быть, лучшее, что вы можете прочитать о севере в обзорно-познавательном плане. Единственное на свете небо Севера тогда уже не было чистым. Благодарно издававший Дьяконова Архангельск уже не был украшен Троицким кафедральным собором, заложенным по указу Петра I, который сам выбрал и место для постройки в 1709 году, — собор взорвали, снесли, уничтожили спустя ровно 220 лет, как раз в пору нового освоения Севера.

Много было в самом деле нововведений. И таких, в том числе, как колючая проволока и сторожевые вышки — на тех свободных просторах, откуда шла на Север новгородская вольница.

Всего этого вы не найдете в последней книге Дьяконова, никакая цензура бы не пропустила. Певец русских народных подвигов теперь должен был молча слушать топоры северных умельцев, воздвигавших бессрочные клетки для людей. Великая Северная Двина! Движение твоих волн сопровождали ныне тяжелые шаги конвойных. Сказка русского северного зодчества — Каргополь! Теперь здесь томилась ссыльная семья расстрелянного маршала Тухачевского. Обозерск... Плесецк... Печора... Все было поругано и предано.

Дьяконов не успел и не мог успеть написать об этом, да и вся наша литература пока еще не успела написать об этом. Но томило сердце, что ведь это был вольный русский Север — эти края никогда не знали крепостного права. Но ГУЛАГ расправлял свои черные крылья именно там — жемчужина Белого моря. Соловецкие острова были превращены в концлагерь. И как раз тогда, когда Михаил Алексеевич писал свои вдохновенные строки, будущий академик

Д. С. Лихачев изо дня в день делил там свой каторжный труд с тысячами сотоварищей, а затем укрывался от стражи в ожидании расстрела...

Мой Север! Как мог ты это допустить? Но как мог ты не допустить этого, — в первую очередь убирали тех, кто мог бы за тебя заступиться. И уже не было академика С. Ф. Платонова, энтузиаста и исследователя Севера, перед его памятью мы тоже в долгу. А в октябре 1938 года не стало и Михаила Алексеевича Дьяконова.

В краткой сводке от издательства к его последней книге сказано: «Автор этой книги изложил богатейший материал по истории исследования полярных стран, и читатель по достоинству оценит его труд». Автор изложил, но читатель уже не смог оценить, не только автор, но и его книга имела трагическую судьбу, мы знаем, что было с книгами тех, кто не возвращался. А последняя книга вышла как раз в год ареста... Как нам распорядиться по-хозяйски этим бесценным богатством — подвижническим духовным наследием путешественника, ученого и поэта Михаила Дьяконова? Его работы стоят в ряду работ таких поэтов Севера, как С. Писахов и Б. Шергин, таких его исследователей, как О. Ю. Шмидт и В. Ю. Визе.

Книгу своих переводов сыновья Михаила Алексеевича предварили стихами Германна Вильденвея:

Ворота распахнуты гулко, копыта прогрохали в ночь —
То молодость, на-конь вскочивши, умчалася бешено
прочь...

Выходит, мне в библиотеке осталось зачахнуть меж книг?
Пускай я потрепан и бледен, но, черт побери, не старик!

Он не должен зачахнуть в библиотеке, как не погиб бесследно в заключении. Свою последнюю книгу он, может быть, так и не успел увидеть, но она вернулась из-под стражи. Она вернулась, но — со следами пыток: в тексте вычеркнуты имена «врагов народа» В. Чубаря и С. Косиора. Со следами пыток, но — она возвратилась, а человека — нет. Так пусть его книги возместят нам долгое — навсегда — отсутствие автора.

«Никто не забыт, и ничто не забыто» — это относится не только к героям и жертвам блокады. Переписывая заново историю советской литературы, надо иных попросить потесниться, зато имена других должны зажечься звездами первой величины.

Владислав Шошин



**Николай
Алексеевич
ЗАБОЛОЦКИЙ**

1903—1958

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Заболоцкий Николай Алексеевич, 24 апреля 1903 года рождения, уроженец Казани, русский, гражданин СССР, беспартийный, литератор, член ССП, проживал: Ленинград, канал Грибоедова, д. 9, кв. 45

жена — Заболоцкая Екатерина Васильевна, 1906 года рождения (В 1963 году проживала: Москва, 2-я Аэропортовская ул., д. 16, кв. 241)

сын — Заболоцкий Никита, 1932 года рождения

дочь — Заболоцкая Наталия, 1937 года рождения

Арестован 16 марта 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Особого Совещания при НКВД от 2 сентября 1938 года определено содержание в ИТЛ сроком на 5 лет.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 9 апреля 1963 года постановление Особого Совещания от 2 сентября 1938 года в отношении Заболоцкого Н. А. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Заболоцкий Н. А. по данному делу реабилитирован.

Наказание отбывал в Восточном и Алтайском ИТЛ НКВД. Срок его заключения истек 19 марта 1943 года, но он был задержан в лагерях до конца войны, однако по ходатайству начальника Управления Алтайского ИТЛ 18 августа 1944 года был освобожден из заключения.

После освобождения был оставлен на работе в Алтайском лагере по вольному найму.

С 18.08.1944 года по 12.11.1945 года работал техником-чертежником в Управлении Алтайского ИТЛ НКВД.

С 14.03.1945 года по 18.09.1945 года — техник-чертежник в Управлении Саранского ИТЛ НКВД.

С 28.09.1945 года по 11.05.1946 года — начальник канцелярии, начальник АХО в Управлении строительства Особсаранстроя (г. Караганда).

Архивная копия

Дорогой Лаврентий Павлович!

Обращаемся к Вам с просьбой помочь талантливому поэту Николаю Алексеевичу Заболоцкому.

19 марта 1943 года истек срок его заключения (пять лет). В порядке существующих общих указаний он был оставлен в лагере до конца войны. 18.VIII.1944 года по ходатайству Управления Алтайского лагеря он был освобожден из заключения в порядке директивы НКВД и Прокуратуры СССР № 185 а. 2 с оставлением по вольному найму для работы в лагере до конца войны.

Автор широко известных, глубоко-патриотических произведений, посвященных величю нашей родины («Горийская симфония», «Север» и др.), Н. А. Заболоцкий является также талантливым переводчиком Руставели. Его перевод «Витязя в тигровой шкуре»

был удостоен почетной грамоты и премии ЦИК Грузинской ССР. Государственное издательство привлекает его в настоящее время к работе в качестве переводчика.

Однако условия жизни и работы Н. А. Заболоцкого лишают его возможности заниматься литературным трудом. До сих пор Н. А. Заболоцкий работал чертежником в Алтайском крае, а теперь вместе со строительством переброшен в Караганду. Климат Караганды противопоказан его здоровью и может оказаться губительным для его 12-летнего туберкулезного сына (жена и двое детей, эвакуированные из Ленинграда в 1942 году, переехали к Н. А. Заболоцкому полгода тому назад). Кроме того, для работы поэта-переводчика необходима постоянная связь с издательством, возможность пользования библиотеками и т. п.

Мы просим Вас разрешить Н. А. Заболоцкому переехать с семьей в Ленинград (или Сиверскую под Ленинградом, где у его жены имеется дача). Это даст возможность талантливому поэту принять участие в важной работе. Вместе с тем мы не сомневаемся в том, что большой талант Н. Заболоцкого принесет еще много пользы делу нашей литературы.

22/III—1945 г.

Н. Тихонов
И. Эренбург
С. Маршак

С ГЛУБОКОЙ ДУМОЙ

Мой отец Николай Заболоцкий начал писать стихи с ранних лет, еще в далеком Вятском крае, где прошло его детство и годы учения в Уржумском реальном училище. Но как поэт он сложился к середине 20-х годов в Ленинграде. Здесь прошли его студенческие годы, здесь он приобрел свое собственное поэтическое лицо, здесь он прочно встал в ряды активных деятелей советской литературы.

Вскоре после окончания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена Заболоцкий сблизился с группой молодых поэтов, среди которых были Д. Хармс, А. Введенский, К. Вагинов, И. Бахтерев, и образовал с ними при ленинградском Доме печати литературную группу — Объединение реального искусства, сокращенно — Оберну. В своей декларации, первые части которой, как полагают, писал За-

болоцкий, обереуты объявили себя «новым отрядом левого революционного искусства», а себя Заболоцкий определил как поэта «голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя». Во многом поэт навсегда остался верен этой декларации. Пройдут годы, но он всегда будет стремиться приблизить и уже не отдельные фигуры, но целый мир к сердцу читателя, стараясь снять с этого мира пленку обыденности и раскрыть во всей наготе неизъяснимую прелесть его внутреннего содержания. В то же время навсегда останется у Заболоцкого неприятие беспредметного эстетства, зауми, запутывания мира в «тину переживаний и эмоций», того, против чего так резко выступали обереуты в своей декларации.

В 1929 году Заболоцкий отошел от группы обереутов, стремясь к полной самостоятельности и избегая какой-либо зависимости от литературных влияний. «Хочу походить на самого себя», — сказал он, когда его спросили, на кого он хотел бы быть похожим. И действительно, когда в 1929 году вышла его первая книжка «Столбцы», перед читателем предстал подлинно оригинальный, ни на кого не похожий автор, изображающий особым образом увиденный мир города и деформированную личность времен нэпа. Особый ракурс взгляда на мир и непривычное построение стиха дали повод некоторым критикам превратно толковать произведения Заболоцкого. Другие же литераторы, среди которых были Н. Л. Степанов, В. А. Каверин, М. М. Зощенко, уже тогда отметили появление нового таланта в поэзии.

В последующие годы Заболоцкий во многом отошел от манеры «Столбцов», но никогда не изменял им в основном — в стремлении выбрать такую точку зрения на мир, чтобы он раскрылся с новой, часто неожиданной стороны, в энергичном построении стиха, где элементы иронии прочно слиты с научной точностью изображения деталей, в смелости метафор и сравнений, в неизменном внимании к смысловой и звуковой нагрузке слова. В итоговом собрании сочинений семнадцать стихотворений из книжки «Столбцы» объединены автором с другими стихотворениями 1926—1933 годов и тремя поэмами под общим названием первой части книги «Столбцы и поэмы».

Будучи человеком склонным к глубоким раздумьям и упорному самосовершенствованию, Заболоцкий много работал, формируя свои взгляды на мир и на литературу. Он увлекался поэзией Державина и Гете, Пушкина, Баратынского и Тютчева и особенно в свои молодые годы — поэзией

кова и украинского философа Сковороды, труды Вернадского и Циолковского, работы Энгельса... В это же время он увлекается живописью, в частности, картинами Филонова и Брейгеля. Живописное начало пустило прочные корни в его поэзии.

В 30-е годы Заболоцкий завершает три поэмы и ряд стихов о природе, в которых отразились философские раздумья и эстетические взгляды поэта. Он обращается и к созидательной, героической деятельности человека («Север», «Седов», «Голубиная книга», «Венчание плодами»), в которой видит проявление космической миссии человека — освобождение природы от хаоса и насилия. С этими стихотворениями смыкаются и такие произведения 40-х годов, как «Творцы дорог», «Город в степи», «Храмгэс». Советская действительность в изобилии предоставляла поэту подобные темы.

В 30-х годах Заболоцкий активно участвует в общественной жизни Ленинградского отделения Союза писателей, печатается в журналах и газетах, в 1937 году выходит вторая книжка его стихов. Он продолжает начатую еще в конце 20-х годов работу в детской литературе, переводит грузинскую поэзию, начинает работать над переводом «Слова о полку Игореве».

В 1945 году возобновляется временно прерванная литературная деятельность Заболоцкого — в селе Михайловке близ Караганды он завершает поэтическое переложение замечательного памятника древнерусской литературы. В 1946 году Заболоцкий с семьей приехал в Москву, и с этого времени начинается его последний, московский период творчества.

Никита Заболоцкий

«В ПОХВАЛУ ТРУДАМ ЕГО И РАНАМ...»

В одном из номеров «Даугавы» появилась «История моего заключения» Николая Заболоцкого. Появилась и... канула, почти не замеченная ни критикой, ни читающей публикой. Показательно открытое письмо читателя Б. Липина в редакцию «Невы» (1988, № 9). Перечисляя имена поэтов, пострадавших во время репрессий — от А. Ахматовой до В. Шаламова, даже этот просвещенный любитель русской словесности о Заболоцком не упоминает. А между тем без «Истории моего заключения» не понять ни истинного смысла тех ста стихотворений, что Заболоцкий еще напишет после освобождения, ни его писем из заключения (часть их опубликована в одном из номеров «Знамени»).

«История моего заключения», размещившаяся на девяти журнальных страницах, кажется, обладает емкостью и весом огромного автобиографического тома — так тесно здесь словам. Заболоцкий не только лаконичен, но и крайне сдержан, почти скрытен. И тем не менее этот документ открывает нам то, что было «незримым доселе»: путь души художника в мир и то, что с этой душой в этом мире приключилось.

«Наконец меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар — в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли за руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью».

Ведали ли так и оставшиеся неизвестными парни, что человек, избиваемый ими, пишет стихи, которые их внуки будут проходить в школе? Разумеется, нет. В их глазах подследственный был всего лишь гнилым интеллигентиком, очкариком, и его беззащитность только распалая их ненависть к «шибко образованным». Впрочем, неузнавание было взаимным, ибо и лобастый книгочей из Уржума не распознал в своих мучителях, казалось бы, хорошо ему знакомых выходцев из своего народа, хотя так гордился простонародной родословной: дед — николаевский солдат, отец — сельский агроном, мать — сельская учительница. Не угадал даже, что толпа, попадая в неволю к преступному времени, тоже становится преступной, хотя вроде обязан был предвидеть и такую вероятность, ведь это его рукой в 1928-м написаны стихи, которые сегодня из умудренного уроками истории далека воспринимаются как пророческие:

Но перед сомкнутым народом
Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,
В кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

Но это нам — ясно, а автор, увы, верует, что участвует в народном референдуме, обсуждая вместе со своим народом наисущественнейшую для республики Советов проблему — на кого ставка: на сапог или лапоть? Оптимист и терпеливец по генетической предрасположенности, он живет, руководствуясь самым надежным из правил творческого поведения: «Смотри на мир, работай в нем и радуйся, что ты — человек!» И смотрел, и радовался, хотя шел второй год Большого Террора, и все ближе и чаще звучало зловещее: *взяли*.

Однако Николай Алексеевич Заболоцкий пока еще не сомневался: и страхи, и угрозы лично к нему никакого отношения не имеют. Нет-нет, он вовсе не был слепцом, он наверняка уже сообразил: и его стихи *застревают* в редакциях отнюдь не случайно. Но не позволял себе ни истерик, ни отчаяния, а работал: взялся за грузинские переводы и не считал, что перевод — донорство, унижающее и оскорбляющее творца: «Искусство поэтов-переводчиков нимало не уступает искусству оригинальной поэзии». К тому же Николай Алексеевич от всего сердца полюбил Грузию, а в Грузии полюбила Заболоцкого: в знак особого расположения доверили самое дорогое — Важа Пшавела, Руставели. Ободренный успехом «русского» «Витязя в тигровой шкуре», поэт задумал и еще одно дерзостное деяние: решил переложить стихами «Слово о полку Игореве», похвалу трудам и ранам главного героя первой русской повести о бессмысленности междоусобной гражданской войны.

Многие из тех, чьи воспоминания мы читаем сегодня, если и не точно знали, что их возьмут все-таки, допуская и такой поворот судьбы, внутренне, загодя готовились к нему. А Жигулин «со товарищи» почти с вызовом шел на погибель. Даже В. Шаламов, при всей его интеллигентности, беззащитным себя не чувствовал, гордясь похвалой бывалого политкаторжанина: «Ну, Варлам Тихонович... вы можете сидеть в тюрьме».

Для Заболоцкого арест был полнейшей неожиданностью. Родившись в 1903 году, он не имел никаких связей со старым миром, как Замятин или Булгаков. Он никогда не ездил в Париж, как Бабель. Не писал «Испанских дневников», как Кольцов. Не устраивал громких «скандалов», как Павел Васильев. Не читал, как Гумилев, в матросской аудитории стихов, посвященных свергнутому монарху. Не называл Сталина палачом, а его подручных «сворой тонкошеих вождей», как Мандельштам. Не оплакивал гибель собственнических устоев, как Клюев. Не вызывал даже элементарной зависти дерзкой

удачливостью, как Борис Корнилов. Он был тихим автором двух тоненьких сборничков «Столбцы» и «Вторая книга» и поэмы «Торжество земледелия». Критикам и книги, и поэма не понравились. В. Ермилов, к примеру, обвинял автора в «юродстве». Но сам автор судил иначе. С его точки зрения, в крамольных смеходействиях не было ни строки, расходящейся с генеральной линией партии, даром, что ли, поэма кончается похоронами сохи и славословием в честь нового солнца и нового машинно-тракторного земледелия: «И тяжелые, как домы, Разорвав черту межи, Вышли, трактором ведомы, Колесницы крепкой ржи».

Увы, несмотря на ортодоксальность «идейного содержания», поэма Заболоцкого лишь с помощью Н. С. Тихонова пролезла в рамки литературных приличий послепереломного времени, но это была, в понимании Заболоцкого, эстетическая, а не политическая распря. Однако похоже, что именно здесь и «таилась погибель». По ходу допроса выяснилось: «НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова». Загодя был заготовлен и список предполагаемых членов несуществующей группы — от Б. Лившица до Б. Корнилова. Под подозрение попали и маститые (Маршак, Федин), и еще неизвестные широкой публике «обереуты»: Введенский, Хармс, Заболоцкий — по близости к Тихонову подозревался особенно рьяно («В особую вину мне ставилась моя поэма „Торжество земледелия“, которая была напечатана Тихоновым»). Наверное, дело было не столько в поэме, сколько в Тихонове: бывший «белый» офицер и автор «Браги», по прикидкам НКВД, он был самой подходящей кандидатурой на роль организатора заговора.

Дело Тихонова «не сколотилось»: Заболоцкий не дал ожидаемых показаний. Ни за собой, ни за другими подозреваемыми он никаких политических преступлений не знал, а раз не знал, то и сознаваться ему было не в чем.

Разумеется, Заболоцкий, был не единственным, кто выдержал испытание пытками и унижениями, и не за него одного вступились оставшиеся на свободе друзья и единомышленники. И все-таки в поспешности, с какой откликнулись на хлопоты жены поэта самые разные люди, есть что-то не совсем обычное. Литературовед В. Десницкий, узнав об аресте Николая Алексеевича, написал Сталину, которого знал по подпольной работе, личное письмо. А. Фадеев лично вручил Генеральному прокурору заявление Заболоцкого с требованием пересмотра его дела.

На этом кампания в защиту не модного и не ведущего поэта не кончилась. В прокуратуру продолжали поступать письма П. Антокольского, Н. Асеева, А. Гитовича, М. Зошенко, В. Каверина, Н. Тихонова... Участие в крайне опасной судебной тяжбе приняли также Н. Степанов, В. Шкловский, К. Чуковский, Е. Шварц. Столь дружный отпор озадачил, видимо, даже органы: дело Заболоцкого назначили к пересмотру. И хотя пересмотр не состоялся (в плотном ряду защитников нашелся-таки «штрейкбрехер»), сам факт доследования, равно как поведение писательской комиссии, созданной в связи с пересмотром, — случай почти беспрецедентный. Ведь защитники поэта, несмотря на все сгушавшуюся атмосферу подозрительности и страха, продолжали доказывать: сам облик Заболоцкого не дает оснований сомневаться в нелепости предъявленных ему обвинений.

Друзья не только неустанно хлопочут, они пишут в лагерь — и Н. Степанов, и В. Каверин, передает приветы Корней Чуковский...

Прав сын поэта Никита Николаевич Заболоцкий: недопустимо равнодушно, как нечто само собой разумеющееся, перелистнуть и эту страницу нашей истории. Ведь писалась она не в 1954, в пору оттепели и общественного суда над Зошенко, и не в 1958, когда в разгар хрущевской весны московская писательская организация почти единогласно проголосовала за исключение Пастернака из СП, а в «кромешном мраке» 1938 года!

И все-таки, думается, дело было не только в личных качествах защитников Заболоцкого, но и в личности самого Заболоцкого: любой из пришедших ему на выручку мог, не рискуя обмануться, поручиться хоть перед господом Богом: кто-кто, а уж Николай Алексеевич никак не мог жить двойной жизнью, скрывая под личиной советского писателя вражескую сущность. Даже Фадеев, тогдашний первый секретарь СП, в Заболоцком не усомнился: «Какой твердый и ясный человек!»

Твердая ясность Николая Алексеевича поражает и нас, особенно в его письмах к родным из заключения. Заболоцкий не скрывает ни от себя, ни от жены, что «душевный инструмент» «грубеет без дела», что душа «незаслуженно и ужасно ужалена», но в то же время не просто верит, а знает, что сможет писать еще лучше, чем прежде, ибо, несмотря на все унижения, силы жизни в нем живы. Вот что писал поэт Екатерине Васильевне Заболоцкой, подводя итоги пятилетнего заключения, перед выходом на поселение: «Время моего ду-

шевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями...»

Судя по «Истории моего заключения», Николай Алексеевич полагал, что его спасало и спасло стечение обстоятельств. Врачи тюремной больницы, куда Заболоцкий попал прямо из следственной камеры как утративший рассудок, увидев через некоторое время, что сознание вернулось к безумному поэту, но что он еще очень слаб физически, на свой страх и риск задержали выписку на несколько дней. По пути на Восток в вагоне один из уголовников, подверженный немотивированным припадкам ярости, замахнулся было на Николая Алексеевича поленом, но товарищи удержали его, и Заболоцкий остался невредим. Как свидетельствует сын поэта, Заболоцкий не любил обременять близких воспоминаниями о своих злоключениях, но о том, что не вынес бы общих лагерных работ, если бы счастливый случай не привел его в проектное бюро на должность чертежника, говорил, и неоднократно. Судьба, действительно, даже «бросив в бездну без стыда», словно и там хранила его. И все-таки, думается, причина столь нетипичного поведения судьбы была отчасти и в нем, Заболоцком.

В самом конце 1956 года меня звали в литобъединение «Магистраль» — на Заболоцкого. Не помню, как и какие стихи поэт читал, а вот лицо его...

В маленьком эссе 1957 года с характерным названием «Почему я не пессимист» Заболоцкий писал: «Множество человеческих лиц, каждое из которых — живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной тайн, — что может быть привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, дружеского сообщества?»

К подобному множеству лицо Заболоцкого не принадлежало. Это было особое, отдельное лицо, оно не отражало, а излучало свет, не яркий, но «немигающий», не просто не подвластный «простым и грубым людским страстям», но и обладающий как бы властью укрощать их, останавливать «цепную реакцию зла». Не этот ли несказанный свет и берег его даже там, в бездне тюремного и лагерного ада, где, как утверждает Варлам Шаламов, единственным чувством, которое остается с узником до конца, была злоба?

Я не знаю, что двигало Фадеевым, когда к просьбам так и не отступившихся от Заболоцкого друзей он присоединил официальное ходатайство о помиловании. Не уверена, что

автор «Разгрома» знал наверняка, какого огромного, до сих пор не оцененного и не прочитанного Поэта, его политический авторитет спасает для России. Может быть, просто сработал открытый Львом Толстым психологический закон: мы любим людей за то добро, которое для них уже сделали.

Ходатайство возымело действие. В августе 1946 года Заболоцкого вызвали в Москву, он был «прощен» (с правом проживания в столице). И даже восстановлен в Союзе писателей.

Смолоду Николай Алексеевич не любил ни Москвы, ни московский «литературный люд». И вот стал законным москвичом. Правда, москвичами заделались и многие из прежних убежденных ленинградцев: Маршак, Тихонов. В литературном Ленинграде «правил» Всеволод Кочетов: там было еще хуже, чем в Москве, «под Фадеевым».

Но Заболоцкий тосковал по прежнему Ленинграду и по друзьям ленинградской юности. О том, что ни Даниила Ивановича Хармса, ни Александра Ивановича Введенского нет в живых, Заболоцкому сообщили в ноябре 1943 года. Сведения, которыми он располагал, были неофициальными, обстоятельства смерти — неясны, и Николай Алексеевич, видимо, еще долго надеялся, что слухи не подтвердятся. Увы, подтвердились: и Хармс, и Введенский умерли в лагерях... И тогда последний из обереутского братства справил по мертвым горькую тризну:

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, пыльца...
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там, наверху, оставленного брата.
Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадами своих стихотворений.

«Прощание с друзьями» написано в стол. На дворе — год 1952. За год до XX съезда создано и «Бегство в Египет» — воспоминание о 1946 годе, когда во глубине Кулундинских степей, где Заболоцкий, выйдя на поселение, жил с приехавшей к нему семьей, пришло извещение о срочном вызове в столицу. Эту идею — «возвратиться нам домой» —

«беглецы» восприняли с ужасом. Здесь, в изгнание, почти обитель: «белый домик с верандой», а там, на родине, — «не-терпимость» и «рабский страх»... Даже сон о возвращении в «страну Ирода» невыносим:

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

Не правда ли, какая странная, какая братская переключ-ка — с другим Мастером и с другой Маргаритой?..

Алла Марченко



**Александр
Ильич
ЗОНИН**

1901—1962

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
21 декабря 1990 года
№ 10/14—7379
Ленинград

Зонин Александр Ильич, 1901 года рождения, уроженец Кировограда, еврей, гражданин СССР, из мещан, беспартийный, в прошлом член ВКП(б) с 1919 по 1935 год (выбыл из партии как не прошедший проверку партийных документов), образование высшее (в 1930 году окончил литературное отделение Института красной профессуры), писатель, член Ленинградского отделения Союза советских писателей, проживал: Ленинград, канал Грибоедова, д. 9, кв. 122

жена — Кетлинская Вера Казимировна, 1906 года рождения, актриса

дочь — Зонина Ленина Александровна, 1923 года рождения

сын — Зонин Сергей Александрович, 1929 года рождения

сын — Кетлинский Сергей Александрович, 1940 года рождения

сын — Зонин Владимир Александрович, 1944 года рождения

На допросах Зонин А. И. показал, что в феврале 1919 года изменил свои анкетные данные в связи с антисемитскими проявлениями по месту службы в армии, до этого был Бриль

Элиазар Израилевич; до 1917 года принимал участие в работе партии эсеров; входил в антипартийную группу «демократического централизма» («децистов»), которая вела борьбу против ЦК ВКП(б) по вопросам партийного строительства, и в антисоветскую группу «Литфронт», являющуюся оппозицией Российской ассоциации пролетарских писателей.

Решением Особого Совещания МГБ СССР от 4 февраля 1950 года Зонин А. И. осужден по ст. 58—10 ч. 2, 58—11 и 182 п. 4 УК РСФСР (хранение холодного оружия) на 10 лет лишения свободы.

По решению Центральной Комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления от 25—26.IV.1955 года, уголовное дело в отношении Зонина А. И. прекращено за недостаточностью предъявленного обвинения.

Заместитель Начальника Управления

В. Н. Теглев

Из книги «Писатели Ленинграда»

Зонин Александр Ильич (27.IX.1901, Елизаветград, ныне Кировоград — 21.II.1962, Москва), критик, прозаик. Окончил литературное отделение Института красной профессуры (1929). В годы гражданской войны был комиссаром полка, затем — редактор газеты и начполитпросвет 16-й армии. Делегат X съезда партии. За участие в подавлении Кронштадтского мятежа награжден орденом Красного Знамени. В последующие годы занимался партийной и журналистской работой (нач. отдела печати ПУР Реввоенсовета Республики, редактор газеты «Туркестанская правда», зам. редактора журнала «Октябрь», зав. отделом печати Ленинградского горкома партии, редактор журнала «Звезда», в 1930—1934 годах был на партработе на Дальнем Востоке). Член КПСС с 1917 года. Участник советско-финляндской войны (1939—1940) и Великой Отечественной войны. До 1943 года состоял в группе писателей при Политуправлении Балтфлота, которую возглавлял В. Вишневский, затем — при Политуправлении Северного флота. С конца войны — корреспондент газеты «Красный флот». Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. В 1949—1955 годах был в Сибири и Казахстане. Литературную работу начал в 1923 году как критик. Входил в РАПП, позднее в Литфронт. В 1938 году обратился к прозе.

У истоков пролетарской литературы. Л., 1927; За пролетарский реализм. Л., 1928; Образы и действительность: Сб. статей. М., 1930; Капитан «Дианы»: Историческая повесть. М. — Л., 1930 и М., 1946; Адмирал Нахимов. М. — Л., 1940; Воспитание моряка: Первая книга о жизни адмирала С. О. Макарова. М., 1942; Поход подводной лодки под командованием капитана 2-го ранга Грищенко. Л., 1942; Две тысячи миль под водой. М. — Л., 1944; Федор Федорович Ушаков. М., 1944; Морское братство: Роман. М. — Л., 1945 и др. изд.; Гвардейский эскадронный миноносец «Гремящий». М., 1947; Свет на борту: Повесть. Л., 1948 и М., 1949; Жизнь адмирала Нахимова; Роман. Л., 1956; На верном курсе. М., 1960 и 1962; Морское братство: Повести. М., 1963; Просоленные годы: Дневники и рассказы. М., 1967; Морское братство: Повести дневник. М., 1975.

ИЗ ТОГО ПОКОЛЕНИЯ

На мировоззрение моего отца, Александра Зонина, большое влияние оказали братья. Старший — Григорий — еще до революции стал большевиком, средний — Виктор — в 1917 году, а мой отец — в 1918 году. Ему было тогда всего шестнадцать лет. Он принадлежал к когорте тех «расторженных революцией, поднятых наверх двадцатыми годами людей», которые свято верили «в совершившееся пришествие наилучшего мира, в то что зло второстепенно, скоропроходяще».

Заканчивая последний класс Коммерческого училища в Елизаветграде, где жила семья, Александр Зонин уже заведывал в Ревкоме отделом советской пропаганды. А семнадцати лет стал комиссаром Красной Армии. Вступив с полком в Одессу, он видел, как дымили на рейде французские корабли и транспорты, увозившие отступавших белых, участвовал в боях с петлюровцами и полками польской армии генерала Галлера. Под Новгородом-Северским был ранен, и хотя функции правой руки у него полностью не восстановились, Александр Зонин остался в армии.

Ранение отнюдь не умерило его восторженно-романтического восприятия войны. Но однажды, под Нарвой, он неожиданно увидел все происходившее как бы со стороны.

На рассвете морозного дня, — вспоминал отец, — мы в третий раз поднялись в атаку. «Первая цепь, в которой я находился, почти прошла страшную зону, пристрелянную беля-

ками. Вдруг я почувствовал, что бежать мне мешает развязавшаяся обмотка. Она обледенела, путалась под ногами, сбивала с шага. Я отскочил в сторону, чтобы сбить лед и намотать мерзлые бинты. И тут мимо меня пробежала вторая цепь. Будто со стороны я увидел лица, искаженные криком «ура», увидел, как пулемет косит людей, серые фигуры на окровавленном снегу... И вся романтика войны, которой мы жили в семнадцать и восемнадцать лет, начисто выветрилась, осталось необходимое страшное испытание, долг убивать и идти на смерть. С таким чувством я уже не расставался ни в годы гражданской войны, ни на Отечественной — в 41-м — на суше у Таллинна, и у Ленинграда, на переходе флота из Таллинна».

Литературная работа Зонина началась в 1920 году с армейской газеты. В те дни ему все казалось простым и ясным: кто враг и кто друг, что было и что грядет. Близился 10-й съезд партии, на армейской партконференции отца выбрали делегатом. Он считал, что на съезде будет продолжена работа по расчистке путей к действую открытым К. Марксом и Ф. Энгельсом революционных законов, что съезд укажет, как вырваться из экономической власти эксплуататоров, которые еще удерживаются в деревне.

Прибыв в Москву, Зонин узнал о мятеже в Кронштадте. По решению ЦК на его подавление было направлено 200 делегатов съезда. Среди них и отец. Посланцы должны были своим примером увлечь полки на подвиг во имя Революции. Обходя вагоны и проверяя какие-то списки, отец познакомился с Булыгой (Александр Фадеев).

Ночью по команде цепи красноармейцев тронулись к острову Котлин. Но вот засветили со стороны Кронштадта боевые прожекторы, там, где снаряды пробивали лед, возникали черные полыньи. Разрыв — и люди исчезают в стылой воде. В полынье оказался и отец. К счастью, он успел ухватиться за полу шинели выбравшегося из воды бойца. К рассвету впереди показались уступы каменной стены. За ней были гавани Кронштадта. Заговорили пулеметы мятежников. Но батальон, преодолев проволочные заграждения на льду, обошел Ораниенбаумскую пристань и рванулся к Петроградским воротам.

Бои продолжались на улицах Кронштадта. Зонин вместе с красноармейцами своего батальона по крышам пробирался от дома к дому, перебежками продвигался по булыжной мостовой, пробиваясь к Усть-Рогатке. Там стояли вмерзшие в лед линкоры «Севастополь», «Гангут» и «Петропавловск».

В политотдел своей 16-й армии Александр Зонин не вернулся, получил новое назначение — начальника отдела печати политуправления Красной Армии и редактора журнала «Политработник» («Коммунист Вооруженных Сил»). В Москве отец познакомился с помощниками редактора журнала «Война и революция» Дмитрием Фурмановым.

Все чаще и все отчетливее стало у отца возникать желание связать свою жизнь с флотом. В конце 1921 года он просит начальника ПУР С. И. Гусева разрешить ему поступление на курсы при Военно-морской академии. И получает отказ — опытные политработники нужны и здесь.

С февраля 1922 года мой отец становится ответственным редактором газеты «Красная звезда» (Туркестан), а затем организует еще одну — «Туркестанская правда». Работая в ней, он подружился с Борисом Лавреневым, носившим тогда еще свою настоящую фамилию Сергеев. По словам отца, Лавренев был «самый трудолюбивый и многосторонний сотрудник — фельетонист, художник, резчик по линолеуму и по дереву, литограф, сатирик в «Сатириконе», поэт в «Кострах», прозаик в «Новом мире», в случае нужды и публицист».

Увлеченный литературой, отец не думает уже о Военно-морской академии, он мечтает об университете. В конце концов С. И. Гусев помог ему получить вызов в Москву.

В столице Александр Зонин работает заведующим военным отделом журнала «Молодая гвардия». Так же, как и его друзья — Д. Фурманов, А. Фадеев, Ю. Либединский, А. Безыменский — он убежден, что новому обществу нужна новая, пролетарская литература. Лишь она может отражать мировоззрение передового класса.

В первой половине 20-х годов Александр Зонин входил в левое крыло Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), публиковавшихся в основном в журнале «На посту». Эта литературная группировка отличалась особенно жесткой политикой по отношению к попутчикам, писателям, которые сочувствовали революции, но по своему мировоззрению не стояли на марксистских позициях или испытывали колебания. Термин «попутчики» был искусственным и не столько характеризовал писателя как художника, сколько являлся выражением РАППовской политики диктата в литературе.

После XIV съезда партии Политбюро направило в Ленинград С. М. Кирова и ряд других коммунистов, среди которых был и Александр Зонин. Все они должны были выступать с критикой выдвинутой Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым

на съезде платформы. 14 января в «Ленинградской правде» появляется статья отца о собрании на заводе «Красный выборжец», а через два дня — статья «Ленинградские коллективы об оппозиции. Обзор резолюций».

В те годы компетентность партии во всех сферах жизни была для Зонина неоспоримой. Он считал, что все люди, а тем более коммунисты, должны твердо проводить ее линию. Вероятно, это не всегда давалось ему легко...

В 1926 году отношение вошедшего в правление Всероссийской ассоциации пролетарских писателей Зонина к попутчикам несколько изменилось. В Ленинграде он был назначен редактором журнала «Звезда» вместо Г. Е. Горбачева. В статье «К итогам литературно-политических разногласий» («Звезда», № 6) он пишет: «Нельзя с водой выплескивать ребенка. Надо относиться к писателю терпимо и терпеливо переводить его на коммунистические рельсы...»

В Ленинграде отец прожил около года, затем веднулся в Москву, чтобы учиться на литературном отделении Института красной профессуры. Одновременно начал работать редактором в издательстве «Земля и фабрика».

В литературных взглядах Александра Зонина нельзя проследить четкой последовательности. В 1926 году он вместе с А. Фадеевым, Ю. Либединым, Л. Авербахом занимал центристскую позицию, но затем вошел в резкий конфликт с этой литературной группировкой и в 1930 году стал членом Литературного фронта — крайне левой литературной группировки ВАПП. Литфронт в критике и литературоведении исповедовал излишнюю, подчас вульгарную социологичность.

Многочисленные статьи отца 20-х годов вошли в три книги, но позднее он о них не любил вспоминать. Кто знает, как сложилась бы судьба Александра Зонина дальше, не появившись в «Правде» после трагической гибели В. Маяковского его статья. Отец называл в ней В. Маяковского замечательным Поэтом Революции. Он хорошо знал и любил его поэзию. Помню, часто читал мне наизусть «Облако в штанах». В прессе проскочили близкие по тональности статьи и других авторов, но в отношении отца реакция руководства Ассоциации пролетарских писателей последовала незамедлительно. Статья А. Зонина о Маяковском была признана политически ошибочной и в направленном Сталину и Молотову письме подверглась резкому осуждению. В результате недавно закончивший Институт красной профессуры и ставший заместителем его директора Александр Зонин решением пар-

тийных органов был направлен на работу на Дальний Восток.

Тогда это казалось ему трагедией. Но... только благодаря исчезновению с московского горизонта отец уцелел в волне репрессий, захлестнувшей страну в 30-е годы.

Четыре года партийной и советской работы были для Зонина нелегкими не только потому, что он был лишен возможности заниматься литературной работой. Отец вспоминал, как на одном из «узких» совещаний в Хабаровском крайкоме начальник управления строительством жаловался, что не может выполнить план из-за нехватки рабочей силы.

— Ты мне только дай список, — лениво сказал начальник управления НКВД, — укажи, сколько и каких профессий люди нужны. И я обеспечу в два счета...

Нет, «своим» для консолидировавшегося вокруг сталинской политики партийного и советского аппарата Зонин так и не стал. Догмы и методы партийной работы, не находя отклика, делали отца «неудобным для начальства». В марте 1934 года Александр Зонин был переведен в систему политотделов Наркомата путей сообщения (НКПС). Но и там он чувствовал себя чужим. Его ужасала нарастающая волна репрессий: потоки столыпинских вагонов, несших пополнение лагерям, шли с Кубани и Дона, из Казахского Семиречья, городов и кишлаков Таджикистана и Узбекистана, аулов Киргизии... Казалось, вокруг — одни враги.

В конце 1934 года Александр Зонин с тяжелым нервным расстройством и крайним физическим истощением был отправлен в больницу. Только к концу 1937 года, получив инвалидность, он сменил больничный халат на костюм. В Москве первый его выход был в ЦК — партийные взносы не платились им более двух лет.

Медленно брел Зонин по непривычно пустынным коридорам. Навстречу попадались сплошь незнакомые люди. Наконец повезло — в конце коридора показался кто-то из прежних... Лицо его, когда он подошел ближе и узнал Зонина, отразило удивление:

— Как, ты не сидишь?

Отец начал рассказывать и услышал совет:

— Уходи немедленно, куда цел...

Зонин ушел.

В партии восстанавливаться не стал.

Среди немногочисленных оставшихся в Москве знакомых и друзей появление откуда-то вдруг взявшегося Александра

Зонина вызывало недоумение, а иногда и страх. Где он был почти восемь лет и почему не в партии?

Работы не было, жить тоже было нелегко. А тут на руках у отца оказался еще я, девятилетний мальчишка, взятый из детского дома, куда я попал после ареста матери и отчима.

Помню вначале мы снимали комнату где-то под Москвой, потом перебрались в столицу и жили в мансарде на Арбате. Обедать я ходил в дом напротив, где красовалась вывеска «Концентраты». День за днем одно и то же: бульон или борщ из кубика концентрата, булочка с котлетой и кисель, тоже из кубика... Отец работал в архивах, писал внутренние рецензии и... роман об Александре Невском. Как сейчас помню подпись на папке: «Земля Новгородская»...

Вскоре роман был закончен и принят издательством. Но после заключения договора с Германией набор рассыпали. Тогда отец написал для детей повесть о мореплавателе В. М. Головнине — «Капитан „Дианы“» и начал роман об адмирале П. С. Нахимове.

Он полностью, казалось, отстранился от современной жизни, погрузившись в изучение истории русского флота. Л. Гинзбург объясняет эту отстраненность «общечеловеческими закономерностями поведения социального человека», фантастической его приспособляемостью. «Тридцатые годы, — пишет она, — это не только труд и страх, но и еще множество талантливых, с волей к реализации людей...»

Почему отец выбрал флот?

Вероятно, не случайно, ведь в 1921 году он хотел пойти учиться в Военно-морскую академию. Помню, как увлеченно развивал он в кабинете Бориса Лавренева идею: Россия всегда была теснейшим образом связана с морями. Ведь и Киевская Русь и Новгород Великий сложились и окрепли на водных путях.

Отец часто состязался с Борисом Андреевичем в знании морской терминологии. Они по очереди называли различные части корабельного рангоута и такелажа, пока кто-нибудь не превышал трехминутной паузы. Надо признаться, побеждал отец редко.

Вероятно, дружеские его отношения с Лавреневым возобновились в 1939 году. А вскоре мы совсем перебрались в Ленинград и этому немало способствовал Борис Андреевич. В финскую войну он включил отца, тогда еще не бывшего членом Союза писателей, в группу писателей, которых распределяли по частям Балтийского флота. Зонин попал на эс-минец «Ленин». Он познакомился на нем с курсантом Воен-

но-морского училища, талантливым поэтом и будущим штурманом Алексеем Лебедевым, который с интересом слушал рассказы отца о российской морской истории. В училище летопись морской славы Отечества тогда начиналась только чуть ли не с 1917 года.

Лебедев погиб осенью 1941 года на подводной лодке «Л-2». После окончания войны отец написал о гибели поэта-штурмана рассказ.

Великая Отечественная война застала нас с отцом в Келломяках (Комарово). Он жил в Доме творчества писателей, а я — неподалеку, в пионерском лагере.

— Вот тебе ключ от номера, — сказал отец, когда я прибежал к нему рано утром. — Будешь здесь жить, ходить в школу. Ленинград могут бомбить, здесь же безопасно. А я — на флот...

К счастью, меня изловили и вместе со всем лагерем отправили в Ленинград. Оттуда я был эвакуирован вместе с женами и детьми писателей в Ярославль. А отец начал свое странствование по дорогам войны.

На главную базу флота в Таллинне из тылового Кронштадта Зонин попал за две бутылки с белой головкой, которые сунул какому-то интенданту, составляющему списки пассажиров. Должность инструктора-литератора при политуправлении КБФ требовала одного — писать. Но писать Александру Зонину в начале войны почти не пришлось. Вместе с отрядом, сформированным из краснофлотцев с кораблей и из частей тыла, он дрался с приближавшимися к городу немцами. Вначале это были передовые разведывательные силы — мотоциклисты, но давление противника все нарастало. Отряд отходил, потом задерживался на каком-то рубеже — уже на городской окраине, и снова отходил, но всякий раз только по приказу командования. По морьякам стреляли с чердаков, из окон, закрытых тяжелыми ставнями...

Вместе с отрядом Зонин погрузился на штабное судно «Вирония». Транспорт вышел на рейд, но был потоплен «юнкерсами». После ранения в гражданскую войну отец плавать не мог. Он спасся, ухватившись за подвернувшееся бревно.

Таллиннский переход Зонин совершил на «Казахстане» — большом судне, на котором эвакуировались армейские и флотские раненые, женщины, дети. После войны все виденное им тогда и пережитое нашло отражение в повести-хронике «Зернов, Ломов и другие», «Дневнике похода на „Л-3”» и романе «Свет на борту».

В романе отец рассказывал о позорном бегстве на катере сгоревшего, лишившегося хода «Казахстана» флотского начальника и его приближенных. О том, как боевые корабли бросили десятки транспортов и ушли, обрекая на гибель тысячи беззащитных людей...

Когда в 1949 году Александр Зонин был арестован, эта книга была приобщена к делу, как свидетельство клеветы на ВМФ и советскую действительность.

Во время блокады Ленинграда Зонин входил в сформированную В. Вишневским при политуправлении КБФ Оперативную группу писателей. Вот что рассказывает о Зонине входивший в эту группу ленинградский писатель Лев Николаевич Успенский:

«...Подсев ко мне, он вдруг спрашивает: „А вы ели что-нибудь по пути?“ Я ничего не ел: у меня „сухой паек“, а чтобы его есть, его надо перевести в менее сухое состояние. Зонин качает головой. Он отходит к своей койке. Он несет мне котелок — солдатский, плоский котелок, — на четверть наполненный гречневой кашей. «Возьмите... Я стараюсь не переесть!» — не то саркастически, не то совсем искренне говорит он, смотря на меня своими выпуклыми, табачного цвета глазами...»

И это в январе — феврале 1942 года!

Блокадной зимой писатели Оперативной группы работали над историей кораблей. Отец поселился на «Октябрьской революции». Документальная его повесть о людях этого линкора («Железные дни») была напечатана 45 лет спустя в военно-мемуарном сборнике «В центре циклона».

Слабый от постоянного недоедания, Александр Зонин нередко в ту зиму оставался почевать на корабле, хотя заместитель Вишневского, полковой комиссар Г. Мирошниченко и требовал, чтобы к концу дня все возвращались в свой «штаб» на набережную Красного Флота. Расценив это как недисциплинированность, Мирошниченко написал рапорт в Политуправление. Обвинял он отца вдобавок еще и в ведении пораженческих разговоров и предложил разжаловать в рядовые или послать в штрафной батальон.

В. Вишневский находился в то время в госпитале, и Мирошниченко понес ему рапорт туда на подпись. Но Вишневский, хотя и недолюбливал отца, ходу рапорту не дал. Всеволод Азаров, разбиравший архив Вишневского после его смерти, нашел эту злосчастную бумагу и показал мне.

Знал ли, чувствовал ли отец, что кольцо вокруг него, уцелевшего в 1937 году, стало сжиматься в блокадную зиму

1942 года? Вряд ли... Вероятно, всеми действиями его в те дни руководило лишь стремление полнее ощутить свое тождество с социальной средой и социальным порядком. Именно это и заставило добиваться разрешения участвовать в боевом походе на подводной лодке. Или так он пытался вырваться из сложившегося в «органах» образа уцелевшего в конце 30-х годов бывшего партийца с положением, а ныне подозрительного фрондера? Так или иначе, вспоминая после войны поход на «Л-3», он как-то сказал: «У меня не было другого выхода».

Поход на «Л-3» длился сорок девять дней. По завершении его командир подводной лодки Петр Грищенко был представлен к званию Героя Советского Союза, а отец — к ордену Красного Знамени. Но судьба распорядилась иначе. Заполит лодки, выведенный Зониным в «Походном дневнике» под фамилией Долматова, вместе со своим отчетом представил в политотдел доклад на командира и его друга Зонина. Грищенко обвинялся в том, что стрелял торпедами залпом. Если бы, мол, по одной — число потопленных транспортов могло быть больше. А отец — в том, что критиковал командование.

Как ни удивительно, награды и Грищенко и отец получили. Однако партийная комиссия не утвердила решения собрания на «Л-3» о приеме Александра Зонина в члены ВКП(б). А со стороны отца это была последняя попытка восстановиться в партии.

В 1944 году Александр Зонин участвовал в боевых операциях торпедных катеров в Варангер-фьорде, когда те громили гитлеровские конвои, идущие в Петсамо. На торпедные катера, да еще в бой, пассажиров не берут — отец шел в море, сидя за турелью пулемета. «Ордена у меня все боевые — не от политуправления», — говорил он.

На Севере Зонин написал свой роман «Морское братство».

Еще в 1942 году В. Кетлинская стала его женой. Помню квартиру в писательской надстройке на канале Грибоедова. В одной комнате стучит машинка отца, в другой — Веры Кетлинской. В перерывах — разговоры за столом о писательских распрях, о последних указаниях, полученных А. Прокофьевым, главой писательской организации, то ли в обкоме, то ли из Москвы — от Фадеева. И ощущение тревоги, неопределенности, сменивших бравурную победность первых послевоенных месяцев. Надежды на то, что после войны все будет иначе, чем в 30-е годы, не оправдывались.

Отца волновала реакция на чтение глав его романа «Свет на борту» в Военно-морской академии. Один из присутствовавших там политработников, якобы сказал, что после речи Черчиля в Фултоне писать о войне на Балтике так, как это делает Зонин, нельзя.

И все-таки то были, наверно, счастливые дни. Отца не забывали флотские друзья, — бывшие командиры кораблей и соединений учились в Военно-морской академии, и в субботу и в воскресенье бывали в нашем доме. Правда, зимой 1949 года, приходя домой, я иногда заставал отца лежащим в кабинете на диване в полной темноте. Но я тогда ничего не понимал, ни о чем не догадывался.

Утром 16 апреля 1949 года я забежал из училища домой. В комнатах все было перевернуто вверх дном. Вера сказала, что отца арестовали...

Постановлением Особого Совещания от 4.11.1950 года Александр Зонин был осужден по статье 58 пункты 10 и 11 и статье 182 пункт 4 на 10 лет лагерей. Через двадцать дней его отправили этапом в Казахстан.

Отец не любил рассказывать ни о тюрьме, ни о лагере. Вернувшись после реабилитации в 1955 году в Ленинград, он почти сразу же засел за работу. Возможно, ему хотелось осмыслить прошлое наедине с самим собой, подвести итоги. Он начал издавелека — написал автобиографическую повесть «Весна началась в марте». В ней рассказывалось о гражданской войне, о мятеже в Кронштадте, о X съезде партии. Писал отец и о 20-х годах в Москве. По-прежнему тянуло его и к флоту. В 1960 году вышел его роман «На верном курсе». В эти же годы Зонин значительно дополнил и переиздал книги «Жизнь адмирала Нахимова» и «Морское братство».

Последние два с небольшим года отец тяжело болел. Кажется, за год до смерти к нему пришли от Е. Стасовой, занимавшейся в ЦК восстановлением в партии реабилитированных, — надо было подписать стандартное заявление. Но незадолго до того отец узнал, что Мирошниченко, привлекавшийся в Ленинграде в 1961 году к ответственности за ложные доносы и исключенный из партии, — снова в ее рядах. И он отказался поставить свою подпись. Отец не хотел быть в одной партии с человеком, показания которого видел в своем деле при освобождении из лагеря в Джезказгане. Мирошниченко обвинял его в троцкизме, космополитизме и контрреволюционной пропаганде.

Последний раз я был у отца в 1962 году, в январе. Мы оба понимали, что возможно больше не увидимся.

— Похорони меня в море, на Севере, — попросил он, когда мы прощались. — Не хочу лежать в земле...

Это желание отца я исполнил. Вот выписка из вахтенного журнала корабля:

20.33. Легли в дрейф. Приспущен Военно-морской флаг. Свободная от вахты команда построена на юте по сигналу «Большой сбор». С кратким памятным словом выступил командир корабля.

21.13. Урна с прахом писателя-моряка Александра Зонина предана морю в $69^{\circ}29'$ северной широты и $34^{\circ}30,5'$ восточной долготы. Ветер северо-восточный 4 балла, море 3 балла, видимость 5 миль, дождь...

Сергей Зонин



**Вильгельм
Александрович
ЗОРГЕНФРЕЙ**

1882—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Зоргенфрей Вильгельм Александрович, 30 августа 1882 года рождения, уроженец г. Аккерман (Бессарабия), немец, гражданин СССР, беспартийный, литератор-переводчик, член ССП, проживал: Ленинград, пр. Карла Либкнехта, д. 44, кв. 21

жена — Зоргенфрей Александра Николаевна (в 1959 году проживала: Ленинград, Кировский пр., д. 50, кв. 5)

Арестован 4 января 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—8 (террористический акт), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

20 сентября 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Зоргенфрея В. А. к высшей мере наказания — расстрелу.

Расстрелян 21 сентября 1938 года.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 22 марта 1958 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР в отношении Зоргенфрея В. А. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

В. А. Зоргенфрей — переводчик Г. Гейне, И.-В. Гете, Р. Роллана, Т. Манна.

В 1918 году привлекался А. Блоком к переводу на русский язык иностранных классиков. Позднее А. М. Горький привлекал его к той же работе в издательстве «Всемирная литература».

Из книги «Писатели Ленинграда»

Зоргенфрей Вильгельм Александрович (11.IX.1882, Аккерман (ныне Белгород-Днестровский) — 21.IX.1938), поэт, переводчик. Окончил Петербургский технологический институт (1908). Работал инженером. Первые рецензии опубликовал в журнале «Литературный вестник» в 1902 году. Под различными псевдонимами печатал сатирические стихи в «Сатириконе» (1908), в газете «Новая жизнь» и журнале «Красная новь» (1925, № 10). Писал рассказы (журналы «Перевал», 1906, «Новое слово», 1911). Автор двух статей о Блоке («Записки мечтателей», 1922, № 5 и 6), вступительных статей к собранию сочинений Г. Клейста (1919), к трагедии «Любушка», к поэме «Сид» и книге Г. Гейне «Стихи» (1931). Основные переводы: Ф. Грильпарцер «Любушка» (1919); Г. Гейне «Путевые картины» (1920); И.-Г. Гердер «Сид» (1922); К. Штернгейм «Четыре повести» (1924); Г. Гейне «Стихотворения» (1931); И.-В. Гете «Побочная дочь» (1933), «Торквато Тассо» (1935); Ф. Шиллер «Лагерь Валленштейна» (1936), «Мария Стюарт» (1937). Переводил также С. Цвейга, Р. Роллана, Т. Манна и др. Архив находится в ЦГАЛИ.

.. Страстная суббота. Стихи. Пг., 1922.

ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ

Точной даты не помню, но пришло оно ко мне в начале 1938 года из так и доныне называемых «Крестов». Мой друг Дмитрий Александрович Фридрихсберг, студент-химик ЛГУ,

попал туда в 1937 году. Обвинялся в абсурдных вещах, характерных для тех времен. Четырнадцать месяцев терпел то, чего терпеть нельзя. А он стерпел. И еще сохранил типичную для интеллигента силу писать стихи. Рассказывал мне потом, что сидел в семиметровой камере, куда умудрялись втиснуть, бросив на голый пол, восемнадцать человек. Среди них был поэт Вильгельм Зоргенфрей, уже почти старик, приятель А. Блока, автор статей о нем... Он погиб в тюрьме, а Дима выжил, потому что страшное заточение оборвал очередной пленум партии. Не берусь судить о природе этого странного события, но друг мой был освобожден после приговора уже из пересыльной тюрьмы.

Именно оттуда, еще не подозревая о скором выходе на волю, он прислал своей матери несколько нижних рубах для стирки. Это разрешили. Передал он словами: «Пусть Наташа выстирает, обязательно она».

Мне было 19 лет. Я могла и не понять истинной причины такой просьбы. Просто-напросто могла выстирать — и все. Пришла на помощь моя мать, старая революционерка. Она-то пришла на помощь моя мать, старая революционерка. Она-то

В швах оказались свернутые в трубки крошечные листки папиросной бумаги, исписанные микроскопическим почерком, карандашом. Были стихи Димы. И отдельный листок — стихотворение Вильгельма Хоргенфрея. Он прочитал его перед смертью и просил Диму запомнить. Написано ли оно было в тюрьме? Или раньше? Этого Дима не знал, да и не смел расспрашивать тяжело больного человека.

Помню мама сказала мне: «Ничего не храни. Это опасно. Держи в голове то, что нравится». Я запомнила несколько отрывков из Диминой поэмы «Знамя и луч». Сохранилась ли она где-нибудь, у кого-нибудь? Не знаю. Дима вышел на свободу и был уже сам хозяином своих стихов.

А стихотворение Зоргенфрея врезалось в память навечно. И не знаю, есть ли оно еще у кого-нибудь в голове или в рукописи. И боюсь опасных шуток старой моей памяти. Может быть, одно-два слова она исказила за прошедшие десятилетия. Этот страх мешал мне предложить стихотворение в печать. Но сейчас уже не до мелких опасений. Сама стара.

Наталия Грудинина



Горестней сердца прибор и бессильные мысли короче.
Ярче взвивается плащ и тревожнее дробь кастаньет.
Холодом веет от стен, и сквозь плотные пологи ночи
Мерной и тяжелой струей проникает щемящий рассвет.
Скоро зажгут на столах запоздалые низкие свечи,
Дрогнет румынский смычок, оборвется ночная игра.
Плотный блондин в сюртуке, обольщающий мягкостью

речи,

Вынет часы, подойдет и покажет на стрелке — пора!
Ветер ворвался и треплет атлас твоего покрывала,
В мутном проходе у стен отразят и замкнут зеркала,
Тяжесть усталых колонн и тоску опустелого зала,
Боль затуманенных глаз и покорную бледность чела.
Где-то внизу у подъезда трепещет и рвется машина,
Мутные пятна огней на предутреннем чистом снегу,
К запаху шелка и роз примешается гарь от бензина,
Яростно взвоят рожок, и восход заалеет в мозгу.
Будут кружиться навстречу кусты, и мосты, и аллен.
Ветер засвищет о том, что забылось, приснилось,

прошло...

В утреннем свете спокойнее, чище, бледнее
Будем смотреть в занесенное снегом стекло.
Что же, не жаль, если за ночь поблекло лицо молодое,
Глубже запали глаза, искривился усмешкою рот, —
Так загадала судьба, чтобы нам в это утро слепое
Мчаться по краю застывших изрезанных вод.
Скоро расступятся ели и станет вокруг молчаливо.
Вяло блеснут камыши и придвинется низкая даль,
Берег сорвется вперед — в снеговые поляны залива...
Так загадала судьба. И не страшно. Не нужно. Не жаль.

Фотография
не
найдена

**Михаил
Ефимович
ЗУЕВ-ОРДЫНЕЦ**

1900—1967

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Зуев-Ордынец Михаил Ефимович, 19 мая 1900 года рождения, уроженец Москвы, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, член ССП, проживал: Ленинград, ул. Жуковского, д. 43/45, кв. 35

жена — Зуева Минна Натановна, 1909 года рождения, звукомонтажница «Союзтехфильма», проживала с мужем.

Арестован 8 апреля 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением Особой Тройки УНКВД ЛО от 25 октября 1937 года определено содержание в ИТЛ сроком на 10 лет.

Наказание отбывал: ст. Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги, Тайшетский лагерь НКВД, 6-й комендантский участок.

Определением Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 2 июля 1956 года постановление Особой Тройки УНКВД от 25 октября 1937 года в отношении Зуева-Ордынца М. Е. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Зуев-Ордынец М. Е. по данному делу реабилитирован.

В 1956 году проживал: г. Караганда 28, Гражданская ул., д. 80.

Зуев-Ордынец М. Е. родился в семье кустика-сапожника. Окончил Высшее начальное училище.

До 1918 года работал мелким конторским служащим на московских заводах и фабриках. В августе 1918 года вступил добровольцем в Красную Армию. Был послан на 1-е Московские артиллерийские курсы командного состава.

По окончании их, с 1919 по 1921 годы, воевал на фронтах гражданской войны.

В 1924 году демобилизовался из Красной Армии.

После демобилизации работал журналистом в уездной газете (г. Вышний Волочок) по месту демобилизации, затем перешел на литературную работу и переехал в Ленинград в 1927 году.

До ареста жил в Ленинграде и занимался литературной работой.

Был членом объединения пролетарских писателей «Кузница», затем кандидатом в члены Союза советских писателей.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Зуев-Ордынец Михаил Ефимович (1.VI.1900, Москва — 23.XII.1967, Караганда), прозаик. В 1918 году вступил добровольцем в Красную Армию, демобилизовался в 1923 году, работал в газете «Наш край» (г. Вышний Волочок). В 1925 году его первые рассказы и очерки были напечатаны в журнале «Резец». В 1927 году стал зав. отделом прозы этого журнала, вошел в группу «Кузница». В 1930 году окончил Ленинградский институт истории искусств. Автор приключенческих и исторических повестей и романов.

Желтый тайфун: Повести и рассказы. Л., 1928; Возмутители: Повесть. М. — Л., 1928; Каменный пояс: Уральские очерки. Л., 1928; Гул пустыни: Исторический роман. М., 1930;

Клад Черной Пустыни: Повесть о сере. М., 1933; Сказание о граде Ново-Китеже: Роман. Л., 1930 и др. изд.; Крушение экзотики. Л., 1933; Хлопушин поиск: Историческая повесть. Челябинск, 1937; Вторая весна: Повесть. М., 1959; Последний год: Роман. Калининград, 1961 и 1966; Вызывайте 5... 5... 5... М., 1961; Осадочная порода. Новосибирск, 1963; Остров Потопленных Кораблей. Алма-Ата, 1963; Хлопушин поиск; Царский курьез: Повести. Алма-Ата, 1966; Царский курьез: Повесть. Пермь, 1967; Бунт на борту: Рассказы. Пермь, 1968; Свинцовый залп: Рассказы. Пермь, 1969; Сказание о граде Ново-Китеже: Роман, повесть, рассказы. Алма-Ата, 1981.

М. Е. Зуев-Ордынец. — В кн.: Русские советские писатели. Прозаики: Библиографический указатель. М., 1971, т. 7. ч. I.



**Герберт
Августович
ЗУККАУ**

1883—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Зуккау Герберт Августович, 20 февраля 1883 года рождения, уроженец Ленинграда, немец, гражданин СССР, беспартийный, переводчик в редакции газеты «Роте Цайтунг», проживал: Ленинград, Б. Пушкарская ул., д. 40, кв. 21

жена — Зуккау А. Г., 47 лет, домохозяйка

сын — Зуккау В. Г., 23 года

сын — Зуккау Г. Г., 21 год

сын — Зуккау Л. Г., 18 лет

Проживали: Ленинград, Б. Пушкарская ул., д. 40, кв. 21.
(В 1956 году Зуккау Георгий Гербертович проживал: Молотовская обл., г. Березники, пр. Сталина, д. 6, кв. 19.)

Арестован 21 апреля 1935 года Управлением НКВД Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность,

направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 20 июня 1935 года определено сослать в Западную Сибирь сроком на 3 года.

Был сослан в г. Томск.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 2 марта 1957 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 20 июня 1935 года в отношении Зуккау Г. А. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Зуккау Г. А. по данному делу реабилитирован.

Вторично арестован 10 октября 1937 года Управлением НКВД по Новосибирской области.

Обвинялся по ст. 58—2 (вооруженное восстание и вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях), ст. 58—10, ст. 58—11 УК РСФСР.

Постановлением Тройки НКВД по Новосибирской области от 25.10.1937 определена высшая мера наказания.

Расстрелян 2 ноября 1937 года.

Зуккау Г. А. по данному делу реабилитирован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30—40 — начале 50-х годов».

Газета «Роте Цайтунг» («Красная газета»), в которой сотрудничал Герберт Зуккау, была органом немецкой коммунистической партии.

ТРИ-ЗУККАУ-ТРИ

Старожилы помнят: была некая традиция — участники одной цирковой группы, выступавшей совместно, именовали себя например, «Пять-Сальвато-пять». Нередко это были семейные династии, в которых искусство передавалось из поколения в поколение.

С одной литературной династией, которую можно обозначить «Три-Зуккау-три», произошло нечто подобное, но совсем-совсем по-иному...

В 1926 году в ленинградском издательстве «Прибой» вышла книга Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (часть первая; вторая выпущена в 1927 году). На

титульном листе значилось, что перевод выполнен Г. А. Зуккау. Когда же свет увидели третья и четвертая части, переводчиков было уже двое: А. Г. и Г. А. Зуккау.

«Кто же они, первые переводчики „Швейка” на русский?» — задавал себе вопрос автор короткой публикации «Неотмеченный юбилей Швейка» («Нева», 1988, № 7) Петр Матко. Попытка отыскать фамилию Зуккау в общих и литературных энциклопедиях ничего не дала.

Книга, герой которой живет под маской наивного простака, воплощает в себе стихийный протест против войны и в сатирической форме обнажает сущность общественной буржуазной морали, имела большой успех и переиздавалась многократно. Узнать же о том, кто впервые познакомил советского читателя с нею, было современному исследователю невозможно по той причине, что Г. А. Зуккау постигла в 1937 году трагическая участь многих.

Но то, что было неизвестно в июле 1988 года, когда «Нева» обратилась к истории перевода «Швейка» на русский и к имени того, кто познакомил русского читателя со знаменитой книгой, — в марте 1990 года перестало быть тайной. Вот что читаем мы в официальных документах:

«Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 2 марта 1957 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 20 июня 1935 года в отношении Зуккау Г. А. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Зуккау Г. А. по данному делу реабилитирован».

Второй документ гласит, что он также реабилитирован и по второму делу «в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30—40 — начале 50-х годов».

Такова судьба первого члена династии Зуккау.

Читателя «Похождений Швейка», державшего в руках книгу, изданную на русском языке, могло, конечно, озадачить одно обстоятельство: на титульном листе стояло: «Перевод с немецкого», а не с чешского. Почему?

Дело заключалось в том, что значительная часть населения Чехословакии, входившей в ту пору в состав Австро-Венгрии, владела немецким языком. Учитывая это обстоятельство, издательство Адольфа Сынека в Праге выпустило роман Гашека на двух языках — немецком и чешском. В руки Зуккау попал именно немецкий вариант. Выход романа в це-

лом отметила одобрительной рецензией «Правда» 7 декабря 1928 года.

Герберт Августович Зуккау, будучи по образованию юристом, после 1917 года стал профессиональным переводчиком. Ему помогала жена, Алиса Германовна, вот почему на титульных листах третьей и четвертой частей первого издания «Швейка» на русском языке стоят инициалы А. Г. и Г. А. После ареста мужа она жила вместе с сыном Владимиром, который в известной мере повторил судьбу отца.

Владимир Зуккау, принявший фамилию В. Зуккау-Невский, а затем просто «Владимир Невский», как и отец, был арестован в 1937 году, но то ли сталинское правосудие удовлетворилось одной жертвой, то ли счастливое стечение обстоятельств помогло, — после того как старшего Зуккау подставили под пулю, младшего, продержав несколько месяцев в тюрьме, освободили без каких-либо последствий. Как и отец, он стал переводчиком с немецкого, но писал и свои стихи, печатался в ленинградских журналах. Еще в 1931 году увидела свет небольшая книжка с голубой полосой на обложке. Над заголовком «Слово о лучших» — имена трех авторов, первый из них — Владимир Зуккау.

То были годы первой пятилетки, поэты считали своим долгом выполнять социальный заказ. Члены литературной группы «Ударник» — В. Зуккау, В. Лозин, Б. Шмидт — прославляли трудовые подвиги советских людей.

Война застала Владимира Зуккау в Ленинграде. Он воевал рядовым, продолжал писать. 18 июня 1942 года по ленинградскому радио прочитали его поэму «Мы жили эту зиму в Ленинграде». Автор знал, что такое блокада: при артобстреле города погибла в 41-м его мать, Алиса Германовна.

В 1947 году Владимира Зуккау-Невского, сына расстрелянного Герберта Зуккау, приняли в Союз писателей. Он продолжал публиковаться как «В. Невский», опустив первую часть фамилии, вторая — это фамилия его матери. В стихах о войне он говорит:

...Здесь когда-нибудь встанет в тупик археолог,
Счет привыкший на тысячелетья вести:
Надо в землю по пояс уйти,
Чтоб открыть тот поселок...
Чтоб июнь сорок первого года найти...

Плодотворна его работа и в области перевода. Он переводит с немецкого Иоганнеса Р. Бехера — «Гимн Германской Демократической Республики», «Достояние народа», стихи.

Курта Бартеля из книги «Стихи человека», выполняет ряд других переводов. Умер Владимир Невский в 1968 году.

И, наконец, третье поколение — поэт и переводчик Сергей Владимирович Зуккау-Невский, известный в литературе под именем Сергея Вольского. Он родился в 1945 году, первые стихи его напечатаны в газете «Ленинские искры» в 1958 году, где он занимался в кружке юных поэтов. По совету отца он начал изучать венгерский язык. В 1963 году увидели свет первые его переводы новелл венгерских авторов, напечатанные в журналах «Звезда» и «Нева».

На сцене советских театров ставились пьесы венгерских драматургов в переводе В. Зуккау-Вольского, одна из них (а всего переведено 15) поставлена в Москве в театре им. К. С. Станиславского. В 1989 году читатели смогли познакомиться с романом Андраша Беркеши «Друзья». Венгерская литература нашла в лице Сергея Вольского энергичного пропагандиста. На многих книгах, выпущенных издательствами «Прогресс», «Художественная литература», «Детская литература» и другими, — стоит его имя как переводчика.

В 1984 году Сергей выпустил сборник собственных стихов «Переключка». В 1986 году стал членом Союза писателей. Есть в «Переключке» стихи «Неповторимость».

Еще дорога далека —
И что там ждет за поворотом?
А в сердце, вопреки заботам,
Вползает по прошлому тоска...

О чем она, эта тоска? Не по тому ли времени, когда и отец, и дед могли бы писать, творить так, как хотелось сердцу, но губительность произвола и беззакония поставили этому железный заслон, и, стало быть, не по времени, а по людям, не дожившим до дня свободы? О деде, которого никогда не довелось увидеть?..

Три-Зуккау-три.

Захар Дичаров



**Михаил
Степанович
ИРИНИН**

1908—1936

ВКСЕЛЬ НЕ ОПЛАЧЕН

Пока еще не заржавели жилы,
Не стала кровь усталой и прохладной,
Как кипяток на станциях пустынных,
Дарю тебе вот этот скромный вексель,
За дружбу, за любовь, за все, что было,
Коль буду жив, быть может, расплачусь.

Эти слова начертаны на одном из поэтических сборников Михаила Иринина и адресованы Всеволоду Азарову, с которым поэт многие годы находился в тесной дружбе.

В ту пору его дарование, его творческие силы были в расцвете. Уже увидела свет повесть «Земля в цвету» (М., 1930), книга «Поперек поля» (Л., 1930), вышел роман «Бунт на коленях» (Л., 1931) и еще одна повесть — «Летопись Микулина Городища» (Л., 1931). И все это привлекло внимание читателя свежестью словесного строя, образностью мышления, лаконизмом языка. Выдавая другу своего рода творческой вексель, Иринин имел все основания думать, что уплатит его.

Не уплатил...

В 1931 году вышли его стихи «Земля», а годом позже агит-поэма «Вооруженный комсомол», в соавторстве с Всево-

лодом Азаровым. Эта тонкая книжка, отпечатанная на голубоватой с оттенком желтизны бумаге, начиналась словами:

Все бойцы мы
Без различья лет...

Три эти года — 1930—1931—1932 — были для молодого литератора как неожиданный сполох среди будней первой пятилетки, как порыв души, устремленной к поэтическому слову. Планы строились немалые — на многие годы вперед, но все остановилось, оборвалось в те дни, когда в Ленинграде поднялась после гибели Кирова волна террора. Она катилась по всей стране и достигла Дальнего Востока, где Михаил Иренин провел последний год жизни. Жил он тогда в Хабаровске, печатался в газетах «Тихоокеанский комсомолец» и «Тихоокеанская звезда». Там и был арестован.

Его жизнь оборвалась в 1936 году. И если бы известна была его могила, быть может, на надгробии написали близкие по-старинному: «Всего жизни оной было 28 лет. Вечная память». Но как бесконечное множество забытых, брошенных холмиков на безымянных кладбищах, и этот тоже нам неизвестен.

Михаил Иренин родился в 1908 году в селе Рождествено Старицкого района нынешней Калининской области. Его настоящее имя Журавлев Михаил Степанович. Вспоминая о нем, Всеволод Азаров говорил, что «Ирениным он назывался по имени матери, Ирины Михайловны, которую горячо любил».

Из деревни Михаил уехал в Ленинград, поступил на Балтийский судостроительный завод, приобрел профессию клепальщика. Систематического образования не получил, за плечами была сельская школа и только, но жадный ум требовал пищи. В те годы из сельской глубинки в города устремлялись тысячи юношей и девушек, чтобы строить социализм — так это называлось и так это говорилось, и слова из этой песни не выкинешь, — не считаясь с трудным бытом, учились, занимались самообразованием, читали ночами. Михаил Журавлев-Иренин стал литератором.

Мало материалов, из которых можно было бы составить представление о том, как из деревенского парня, затем рабочего-судостроителя вырастал автор талантливых книг. Всеволод Азаров вспоминает:

«В Доме книги, по всей вероятности в 1930 году, я познакомился с даровитым, к тому времени уже довольно известным писателем Михаилом Ирениным.

... Большое влияние на формирование творчества молодого Иринина оказал, как рассказала мне недавно его жена Валентина Васильевна Астахова, его первый литературный наставник, талантливый педагог Емельян Серафимович Ярмагаев. Их познакомил товарищ Иринина, композитор Ива-нишин.

Многим из нас, начинавшим печататься в Ленинграде в те годы, в том числе, верно, и Иринину, помогла литературная студия журнала «Резец» и ее руководитель, поэт и теоретик Алексей Петрович Крайский.

Иринин в какие-то несколько лет сумел сделать многое».

Когда Всеволод Азаров готовил эту публикацию о своем друге, напечатанную в «Дне поэзии-68» он не мог открыто сообщить о трагической его судьбе, написал лишь одно: «Иринин рано ушел из жизни».

Он был романтик, Михаил Степанович Журавлев-Ири-нин, — и в стихах и в прозе. И вспоминая о других поэтах, в частности о Багрицком, как будто говорит о самом себе:

Под утро ночь,
Как заговор тиха,
И поневоле вспомнишь Эдуарда,
Неровный ритм
Тяжелого стиха...

.....
Но были песни,
Как припадок астмы,
Как будто рот забит землей,
Когда простой, в полоску, синий галстук
Грозил смертельной стать петлей.
Как кони ржут постельные пружины,
Пот, как поддельный жемчуг на лице,
И застекленный
Со стёны Дзержинский
С ним разговаривал о ТВС...

.....
Последний час,
Как судно, вмерз во льды.
Озноб и жар
В пустыне смерти голой.
Поэт-романтик умер молодым
В том возрасте, как и товарищ Коган.

Как представить себе за далью лет стертого с лика земли человека?.. Только по его полотнам, если он художник,

только по страницам его книг, если он писатель. Когда умирает ребенок, мы горюем, страдаем и нас тяжело мучает мысль о том, что не свершилось в этом, еще не дозревшем до расцвета существе. Кем бы он мог стать? Большим ученым?.. Замечательным токарем?.. Потрясающей силы композитором?.. Ничего этого мы не знаем и не узнаем никогда.

Но если перед тобой обнаженные мысли поэта, ты услышишь его. И даже видишь.

Алый вымпел

зарёю зарей.

Пой труба и гуди фагот —

И в багряную глубь на заре

На учебу выходит флот.

А фарватер вокруг на-ятя.

Голубая бежит вода.

И валам

подавая пять,

Боевые проходят суда.

(«Вооруженный комсомол»).

Во мне, старом комсомольце, этот призыв мгновенно рождает отклик: да-да, так и было в те, ранние — тридцатые, когда еще не затеял свою кровавую работу «великий кормчий»: жизнь, радость — реяли.

А вот строки, которые были зарублены цензурой, и сохранились (в корректуре) в книге, подаренной другу. Пожелтевшая, ветхая вклейка:

Мы отвыкаем ценить вранье,

Стали во всем осторожны, как змеи,

С ужасом слушаем соловьев

И на луну посмотреть не смеем.

Но если оглянешься, там и тут

Растут нетерпенья и тревога.

Звери ликуют, камни цветут,

Женщины больше не верят в бога.

Люди и вещи обнажены...

Когда написаны эти стихи? Может быть, сегодня — столько в них боли и волнения, опасений — не за себя, за всех?.. Нет. Дата, вписанная от руки, — 26 декабря 1932 года.

Поэт жил тем, чем жила страна и в те, давно минувшие годы. Кто знает, не за эти ли или подобные им стихи поплатился он жизнью...

Мы не знаем, какие еще стихи подарил миру поэт Иринин, они до сих пор не собраны, не переизданы. Он писал интересно, и это были настоящие стихи. И все-таки не знаем...

Но проза... В его киге «Бунт на коленях», где романнный сюжет сплетается с очерковыми отступлениями, киге о днях, в которых живет сам автор, прорывается такое яркое пламя таланта, что сердце сжимается при мысли, что за этим уже никогда не последуют новые произведения.

«Молодая сильная зима. Мороз хватал до самых дальних звезд. Во вторую половину ночи на ослепительные панели много их падало, молодых, бескрылых. Белая поступь января... На обветренных ребрах заборов неприклеенные полотнища афиш звенели, как листовое железо.

Длинные глотки водопроводных труб, задушенные морозом, хрипели и не могли дать ни капли воды. Перемерзлые оконные стекла трескались и крошились, как бисквиты. На просторных сияющих площадях постовые милиционеры разжигали костры и яростно поддерживали неугасимый нужный огонь. Отзывчивые трамвайные рельсы, получив дивную закатку января, звенели сами по себе простуженным долгим звоном».

Не употребляя превосходных степеней, мы не можем не восхититься этим изображением городского питерского пейзажа.

«Бунт на коленях» — книга о заводе, о рабочих — молодых, старых, самых разных, о жизни и быте людей труда 30-х годов. В ней нет звонких фраз о героизме, соревновании, но есть живые характеры, есть чувство времени. И много поэзии.

«Машины привязчивы и благодарны, как женщины. Человек, научившийся обладать машиной, может чувствовать почти физическую близость с нею... Доверенная мне машина была первой моей заводской любовью, а она, будучи еще совсем новой, впервые познавала такое бережное и внимательное отношение к себе».

Эти строки звучат, как поэзия, достаточно вспомнить Гастева, его гимны труду и машинам. А вот — о весне: «Весна пришла неожиданная, сильная, как эпидемия. Не равнодушное солнце января, а яростное солнце марта поднялось над замороженным городом, и в первый же день осели и стали мертвенно темными сугробы снега, тротуары обнажились и заблестели, в еще бестрепетных бульварных деревьях началось чувствоваться скрытое движение соков».

Ленинград не был родиной Михаила Иренина, физической родиной, но сделался его родиной творческой. И он любил этот город, особенно ту его часть, что отражалась в бесконечно плывущей реке.

«Сильная, освобожденная ото льда, Нева, как никогда многоводная в этот год, подступала почти к самым стапелям, но круто поднятые кормовые стороны судов были для нее все же недосыгаемы, и только немногим волнам, случайно взявшим большую высоту, на мгновение удавалось коснуться и прильнуть к береженным и недоступным корабельным грудям, чтобы через мгновение заново рухнуть вниз, рассерженно и шумно, а на лосных коричневых громадах оставалось только чуть розовеющее кружево пены».

Теперь мы будем помнить о Михаиле Иренине, потому что знаем его. И будем знать, потому что помним...

Захар Дичаров

Фотография

не

найдена

**Ян
Антонович
КАЛНЫНЬ**

1902—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28 2—517

Калнынь Ян Антонович, 1902 года рождения, уроженец усадьбы Валгацы, Венденский уезд Лифляндской губернии, латыш, гражданин СССР, член ССП, член ВКП(б) с 1925 года, исключен в связи с арестом, главный редактор детского радиовещания Радиокomiteта, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 80

жена — Калнынь Амалия Францевна (в 1959 году проживала: Ленинград, Невский пр., д. 6, кв. 1)

сын — Бернارد, 4 года (в 1937 году)

дочь — Эрна, 12 лет (в 1937 году)

дочь — Регина, 5 лет (в 1937 году)

Дети проживали: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 80.

Арестован 3 декабря 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—6 УК РСФСР (шпионаж).

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 11 января 1938 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 18 января 1938 года в Ленинграде.

Определением Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 5 ноября 1958 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 11 января 1938 года в отношении Калныня Я. А. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Калнынь Я. А. реабилитирован.

Калнынь Я. А. в 1929 году заведовал литературной консультацией рабочего литературно-художественного журнала «Резец».

В 1932 году был секретарем оргкомитета Союза советских писателей.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Калнынь Ян Антонович (1902, усадьба Валгацы, Латвия — 19.III.1944), прозаик, публицист. Член КПСС. С 17 лет работал в органах ВЧК — ГПУ (г. Великие Луки). В 20-е годы заведовал отделом литературы в «Вечерней газете». Позднее был главным редактором детского радиовещания в Ленинградском радиокомитете. Входил в ЛОКАФ. Архив находится в ГПБ.

Звездный сбор. Л., 1931 и 1933; Кипуны: По районам сплошной коллективизации. М. — Л., 1931.



Анатолий
Дмитриевич
КАМЕГУЛОВ

1900—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Камегулов Анатолий Дмитриевич¹, 1900 года рождения, уроженец г. Смоленска, русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1919 года, исключен в связи с арестом, ученый специалист АН СССР по истории русской литературы, член ССП, проживал: Ленинград, ул. Чайковского, д. 39, кв. 12
жена — Лоцарсон Раиса Марковна, 31 год (в 1935 году)
(в 1958 году проживала: Ленинград, Московский пр., д. 165, кв. 55).

Арестован 8 февраля 1935 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся в содействии контрреволюционной зиновьевской группе.

Постановлением Особого Совещания при НКВД от 10 февраля 1935 года определено сослать в г. Тургай (Казахстан) сроком на 4 года.

¹ Фотография не найдена. Дружеский шарж сделан в 1926 году художником Николаем Радловым, также репрессированным и уничтоженным.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 23 августа 1957 года постановление Особого Сопещения при НКВД СССР от 10 февраля 1935 года в отношении Камегулова А. Д. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Камегулов А. Д. по данному делу реабилитирован.

Вторично арестован 29 марта 1936 года.

9 октября 1937 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Камегулова А. Д. к высшей мере наказания.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 15 февраля 1958 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 9 октября 1937 года в отношении Камегулова А. Д. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Камегулов А. Д. реабилитирован посмертно.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ СТРОК

Как часто на житейских наших дорогах встречаемся мы с людьми, общение с которыми недолговечно и непрочно, и которые с годами навсегда уходят в прошлое. Да, было, но минуло, и нет, как будто, никакого повода для того, чтобы вспоминать об этом, представлять себе чьи-то голоса, лица, поступки... Только иногда вдруг возносит нас на гребень событий, и человек, лишь искоркой мелькнувший перед тобой, становится зримым и для тебя необычным.

Когда из Управления Комитета госбезопасности по Ленинградской области в секретариат Ленинградской писательской организации поступил толстый пакет, содержащий архивные копии документов о судьбах десятков ленинградских писателей, погибших в 37-е, увиделся мне среди них и листок, в верхнем левом углу которого стояло: «Камегулов Анатолий Дмитриевич». И ниже — двадцать шесть (ровно двадцать шесть!) строк, в которые уместилась вся жизнь человека, от того дня, когда он родился — 30 октября 1900 года в Смоленске, — и до другого, тоже октябрьского дня 1937 года, когда в некоей бумаге, не дошедшей до нас, была сделана пометка: «Расстрелян». И — дата.

В ночной тишине, в сумраке, лишь слабо разгоняемом светом уличного фонаря, я напрягаюсь, чтобы вызвать в памяти удлиненное, слегка клиновидное лицо, ироничный временами голос, высокую фигуру. И когда это удается — деся-

тилетия, разделяющие мою жизнь и его смерть, как бы исчезают, и я вижу себя рядом с ним в одной из комнат Института русской литературы, более известного под именем Пушкинский дом. Какой это был год? Тысяча девятьсот тридцать какой-то? Или память меня подводит?..

Нет, память еще не подводит. Вот передо мной первая моя книга «Омоложенный гигант», очерки, рассказывающие о краснопутиловской комсомолки. Издательство «Молодая гвардия», год 1932. Ниже фамилии автора короткая строка: «рабочий завода „Красный путиловец“».

В том году мне исполнилось девятнадцать. Я твердо помнил совет Адриана Ивановича Пиотровского, много и жадно читал. Уйдя в 30-м году с кинофабрики «Совкино», поступил на знаменитый петербургский-петроградский завод, который тогда постоянно называли «бастионом революционной борьбы», и дежурный цеховой электрик оказался в самой гуще кипучей, далеко не будничной жизни. Шла на заводе, как и повсюду, борьба со вчерашней неграмотностью, с неумением, с отсталостью. Главным термином и главным понятием было слово «трактор», — их требовалось делать тысячи и тысячи, а получались в первое время только единицы.

При заводской газете была литературная группа «Мотор», в которой состоял и я. Ею руководили поэт Борис Соловьев и прозаик Геннадий Фиш. Но в путиловские цеха постоянно приезжали и приходили то Юрий Либединский, то Александр Безымёнский, известный критик Ермилов. Отзвуки литературных споров доходили и до рабочих парней и девушек, впервые пытавшихся сотворить что-то свое.

Когда вышла моя тонкая книга и я показал ее Матвею Мительману, партийному журналисту, он сказал: «Ну что же, для начала — только для начала — пусть живет. Учиться тебе надо». Я сказал, что уже учусь в вечернем комвузе на комсомольском отделении.

— Комвуз — это хорошо. Но погрызи-ка ты другой гранит!

То было время для советской литературы поворотное. Дело шло к созданию единой писательской организации. Мительман был секретарем оргкомитета в Ленинграде. Как ни удивительно, та бумажка на полулисте с грифом Союза писателей сохранилась. В ней значилось, что такой-то, то есть я, направлен в Институт русской литературы для зачисления в рабочую аспирантуру.

Да, была такая затея в те времена. Мы, молодые, те кто рвались к знаниям, к творчеству, обязательно где-то учились,

ходили в кружки, лепились к журналу «Резец», ставшему для многих первой литературной нянькой, и быстро выходили на страницы массовой печати. Мои очерки печатала «Комсомолка», журнал «Юный пролетарий», но ни одна публикация меня не радовала — чувство неполноты не исчезало.

С письмом оргкомитета Союза писателей я пришел в Пушкинский дом. Я совсем не собирался бросать занятия в комвузе ради непонятной для меня «рабочей аспирантуры», но было интересно, что же это такое, да и звучало очень уж завлекательно...

Директор Института русской литературы Канаев (участь его была в последующие годы — страшно сказать это слово — типичной: его расстреляли) прочитал письмо и спросил:

— А у вас уже есть что-нибудь напечатанное?

Я показал свою первую книжку. Он, улыбаясь сквозь усы, полистал и ее и сказал: «Очень хорошо. С вами будет заниматься Анатолий Дмитриевич Каменулов». — Вызвал его и предложил: «Познакомьтесь».

Так я стал на какое-то время «рабочим аспирантом ИРЛИ», а моим руководителем стал ученый специалист Академии наук СССР по истории русской литературы.

В ту пору я был тонкий, худощавый, носил русские сапоги, кавказскую рубаху с наборным пояском, в общем еще выглядел совсем юнцом. Каменулов задал несколько вопросов и сразу убедился в том, что, хотя я уже и успел прочитать немало из русской классики и по части всякой политики тоже вроде как-то подкован (все-таки занимаюсь в комвузе), но с наукой литературной совсем еще не подружился:

— Значит вот, дорогой Захар, задание такое — запишут тебя в институтскую библиотеку, возьмешь там первый том «Истории русской литературы» Овсяннико-Куликовского и будешь читать, делать выписки, конспектировать. А потом будем беседовать. Сможешь?

Так вот и началась моя «рабочая аспирантура». Времени на то, чтобы работать в цехе, учиться вечером в комвузе, писать, вчитываться в Овсяннико-Куликовского катастрофически не хватало. Я жил на Выборгской стороне и ездил от туда трамваем через весь город за Нарвские ворота. Приходилось вставать в шесть утра, чтобы поспеть к началу смены. Бывало, стоишь в трамвайной тесноте, держишься за кожаную петлю и дремлешь. Раньше, чем в полночь, а то и позже, ложиться не удавалось, пяти часов сна не хватало.



Лик убийцы. Один из «хозяев»
НКВД Генрих Ягода



Лик его жертвы
Один из миллионов

Но занятия мои с Камегуловым не прерывались. У нас не было твердого плана, каждый раз мы договаривались о следующей встрече, но дело понемногу двигалось. Он спрашивал о прочитанном, но не как экзаменатор, а как внимательный учитель, который к тому, что узнал ученик, старается щедро добавить из собственных запасов. Я осилил уже первый том «Истории русской литературы», урывками продолжал писать, иногда показывал что-то Анатолию Дмитриевичу. Но он не любил менторства, не делал никаких наставлений, просто говорил:

— Писать надо каждый день. И не забывай перечитывать написанное, а перечитав — рвать и начинать сначала...

Наши встречи продолжались. Я перестал быть «рабочим аспирантом» высшего академического учреждения лишь после того, как, закончив двухгодичный комвуз, стал студентом вечернего Рабочего литературного университета имени Горького при ленинградской писательской организации. Это необычное учебное заведение собрало под свое крыло всю тогдашнюю молодую литературную поросль города.

И вот теперь лежит передо мной трагический документ.
«...Арестован 8 февраля 1935 года Управлением НКВД по Ленинградской области... Постановлением Особого Сове-

щения при НКВД СССР от 10 февраля 1935 года определено сослать в г. Тургай (Казахстан) сроком на 4 года».

Всего только два дня понадобилось, чтобы схватить и подвергнуть человека репрессии. Никакого следствия. Никакого суда. Произвол.

Но, как видно, этого НКВД показалось мало. Примерно через год 29 марта 1936 года, ссыльный Камегулов арестован вторично. Еще восемнадцать месяцев он томился в тюрьме, а затем последовал новый приговор: «9 октября 1937 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Камегулова А. Д. к высшей мере наказания».

В 1957 году постановлением Президиума Ленинградского городского суда А. Д. Камегулов по первому делу реабилитирован. А в 1958 году все та же Военная Коллегия Верховного Суда СССР отменяет и второй приговор, его казнь. Заключительная формула документа гласит: «Камегулов А. Д. реабилитирован посмертно».

Жизнь каждого из обитающих на планете Земля конечна, и о деяниях каждого ее жителя могут сказать когда-нибудь: «посмертно». Но как по-разному прозвучит это слово по отношению к тому, кто умер своей смертью, и к тому, кто погиб до времени и безвинно!

Матвей Мительман, тот, кто направлял меня в ИРЛИ (спустя десять лет, он, комиссар Путиловской дивизии, погиб на Пулковских высотах), спрашивал тогда же, как идут занятия, есть ли от них толк, а заодно интересовался:

— А то, что сам Камегулов написал, ты знаешь, читал?

Но приходилось отвечать, что нет, не читал, где уж там время на это взять?

Да, так уж случилось, что с книгами одного из моих литературных наставников я сумел познакомиться только ныне, когда понадобилось о нем написать. Камегулов принимал участие в рождении журнала «Литературная учеба», состоял в его руководстве, работу эту вел вместе с А. М. Горьким. При жизни им были выпущены книги: «Стиль Глеба Успенского», «Художественный путь Фурманова», сборник статей «На литературном фронте». Известны также его рецензии и статьи о творчестве русских писателей XIX века, и о советских писателях.

В том самом июне 1936 года, когда Горький умирал, — человек, отдавший немало сил воспитанию новой литературной смены, томился за решеткой. Ему оставалось еще дышать тюремным воздухом больше года. Он погиб, так и не узнав, что Горького не стало.

Но одно можно предположить смело: тогда излюбленным аргументом палачей — на их взгляд очень убедительным — являлась горьковская фраза, однажды им произнесенная или написанная: «Если враг не сдается — его уничтожают».

То была злая ирония судьбы: именем писателя-гуманиста рубили головы, и в том числе тех, кто работал с ним рядом. Одним из них и был Анатолий Камегулов.

Захар Дичаров



**Антоний
КАСИМОВ
(Константин
Иванович
ДЕРКАЧЕНКО)**

1903—1980

АНТОНИЙ КАСИМОВ

Ложатся на стол письма из Омска и Рязани, из Красноводска и Таллинна, из Ижевска... Не было в стране города и селения, откуда бы хищная и кровавая рука сталинских подручных не выхватывала людей, не бросала в тюрьмы, не ссылала. Не расстреливала.

И вот теперь, почти шестьдесят лет спустя, имена их — забытые, помянутые историей, — становятся самой историей.

В стихотворении «Бывшему другу» из цикла «В годы изгнания» читаем строки, написанные в 1939 году:

Помнишь письмо? Не сумел смолчать я,
Помнишь? — Тогда не кори —
Из-за семи замков и печатей
Я заговорил...

Они не увидели тогда света, не были прочитаны вслух для всех.

Лишь ныне, через полвека, сняты с них «семь замков и печатей»...

Антоний Касимов (Константин Деркаченко) родился в 1903 году в Кронштадте в семье военного моряка. Страстная любовь к России, к ее горестям и радостям были в традиции семьи. Иван Деркаченко-старший, офицер Россий-

ского флота, был участником Цусимского сражения. Его сын, пятнадцатилетним подростком, познал, что такое труд. Много профессий пришлось ему сменить за семьдесят семь лет жизни. Стоял у слесарного верстака, а потом случилось по-разному: уже в годы полной зрелости получил диплом инженера, а еще позже взял в руки винтовку.

Литература повела его за собой рано. Писать начал с шестнадцати лет, в 1922 году его первое стихотворение появилось на страницах петроградской «Красной газеты». В 1924 году вступил в комсомол и тогда же стал одним из инициаторов первого в Советском Союзе рабочего литературного журнала «Резец», председателем литературной группы при его редакции. Творчество его мужало.

Тревогой улица полна,
Взволнован улей пролетарский:
«Вставай, рабочая страна, —
Убит товарищ Володарский!»
Упал боец... Миллионы рук,
Видавших кровь, восстаний пламя,
Кольцом сомкнулися вокруг,
Схватили дрогнувшее знамя.

(Володарскому, 1924)

Он вошел в число членов ЛАПП — Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, был избран секретарем знаменитой «Кузницы». В творческих кругах того времени, на страницах печати имя, под которым он печатался, — Антоний Касимов — было хорошо известно.

Но 1935 год принес в его судьбу недобрые перемены.

Уже где-то в глубине, на подступах к более позднему, 37-му, рождался вал репрессий и террора. Началась «чистка» Ленинграда от «нежелательного элемента», от бывших российских дворян, от интеллигенции, имевшей несчастье быть потомками тех, кто служил в царской армии. «С 1930 года отец был лишен возможности публиковаться на страницах печати, — рассказывает сын поэта, — а в 1935 году, как и многие ленинградские интеллигенты, без суда и следствия, без объяснения причин, вместе с семьей выслан из Ленинграда в Казахстан».

Местом их обитания стал небольшой город Челкар Актюбинской области. Нелегкая пора наступила для того, кто еще недавно жил одним дыханием с новой поэзией, с волнениями и тревогами большой литературы, переживавшей время ста-

новления, — только что завершился 1-й съезд советских писателей. Куда и к кому обратиться за помощью?

В своем письме ко мне от 11 января 1989 года сын Константина Ивановича Деркаченко пишет:

«Среди неопубликованных стихов отца есть одно — „Бывшему другу“, оно адресовано поэту Александру Прокофьеву. Отец помогал ему в начале творческого пути, сотрудничал с ним в рамках «Ленинградской кузницы». Однако, когда в Ленинграде началась волна репрессий, захватившая и моего отца, многие из друзей сразу отшатнулись от него, боялись встать на защиту его доброго имени. Близкий друг — Александр Прокофьев оказался в том числе.

При последней встрече с отцом он побоялся протянуть ему для приветствия руку. Имя поэта А. Касимова навсегда исчезло со страниц печати.

Судьбу Антония Касимова нельзя, пожалуй, сравнивать с судьбой тех, кого безвинная кара постигла в расцвете сил и дарования; тех, кто погиб в лефортовских казематах или в вечной мерзлоте Колымы, но и она по-своему была суровой.

Началась война, и он сразу же в 1941 году вступил в Актюбинске добровольцем в полк народного ополчения. Сам обучаясь военному делу, в то же время обучал других, готовил бойцов для фронта. Командир отделения... командир роты... В самый тяжелый период войны, в январе 1943 года, он уже на переднем крае, в рядах действующей армии, в войсках 3-го Украинского фронта.

Окончилась война, Константин Деркаченко-Касимов возвратился туда, где жила семья. Наново надо было устраивать жизнь. Творческая работа не прекращалась, но лишь спустя 22 года после репрессий, в 1957 году, пришла реабилитация. «Фактически же в течение этого периода (за небольшими исключениями), по негласному указанию работников НКВД, он был лишен возможности публиковать свои произведения, даже несмотря на то, что в 1947 году был принят в члены Союза писателей СССР» (из письма сына, Виктора Деркаченко).

Впереди еще были долгие годы жизни. Своему призванию поэт не изменил — работал журналистом, вел общественную работу выборного секретаря Межобластного отделения Союза писателей Казахстана по Актюбинской области, много сил отдавал воспитанию поэтической молодежи. И со стихами не расставался. В одном из них он писал:

Может быть, в нем грусти слишком много?
Видно, возраст этому виной:
Позади — нелегкая дорога,
Впереди — не надо мне иной!
Буду сердце жечь костром свершений,
Так честнее, чем лучинкой тлеть.
А погаснет — не согну колени,
Я сумею стоя умереть!

Чаще всего он публиковал свои стихи на страницах областной печати. Фортуна к нему стала снисходительней, с 1960 по 1979 год казахское издательство «Жазушы» выпустило пять сборников стихов и поэм Константина Деркаченко: «Говорит сердце» (1960), «А это сохрани...» (1964), «Венок из полыни» (1968), «Самое дорогое» (1974), «От всей души» (1979). Казалось бы, немало. Но для широкого круга читателей России большая часть стихов поэта оставалась неизвестной. Под различными предлогами издательства препятствовали широкой публикации его стихов, урезали объем сборников до уровня начинающих поэтов, вносили правки и корректуры без согласования с автором... Многое так и не дошло до читателя. Союз писателей Казахстана остался безразличен и к судьбе архива К. Деркаченко.

В стихотворении «Протест» (из цикла «Юным современникам») он, задолго до нынешних времен, призывал:

Не хочу быть «старейшим»,
«Именитым» — тем более,
А хочу быть добрейшим
К человеческой боли.
Не хочу фимиамиТЬ
По шпаргалкам с трибуны, —
ФимиаМ — не фундамент
Для постройки Коммуны.
Не хочу, чтобы фразы
Пустозвоном глушили,
Пусть и сердце, и разум
Никогда не фальшивят.
Чтобы сердце велело,
А разум излечивал
И ранения тела,
И сердца человечьи.
Чтобы думалось молодо,
Чтобы чище любилось,

Чтоб любовь выше золота,
Больше жизни ценилась.
Чтоб никто непомерного
Не желал и не требовал,
Чтобы не было «первого»
И «последнего» не было.
Пусть несут мне друзья
Не подарки, а души,
Чтобы каждому я
Был хоть в чем-нибудь нужен.
Чтоб горело во мне,
Приглашая погреться,
При седой голове
Комсомольское сердце.

(1967)

А в стихах «Завещание» обращался к будущему:

Не ставлю в завещаньи даты —
Ни года, месяца, ни дня.
Но, говорил Расул Гамзатов,
Что где-то в косяке крылатом,
Есть промежуток для меня.
Я эти строки остро помню,
И, подытожив жизнь свою,
Я в срок положенный заполню
Свой промежуток в том строю.

Этот «положенный срок» наступил 5 апреля 1980 года.

Захар Дичаров

Фотография
не
найдена

**Петр
Рудольфович
КИКУТС**

1907—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Кикутс Петр Рудольфович, 24 июля 1907 года рождения, уроженец усадьбы Усиньи, Анненская волость, Ляфляндская губерния, латыш, гражданин СССР, беспартийный, аспирант Государственного НИИ искусствознания, член ССП, проживал: Ленинград, пр. 25-го Октября, д. 27, кв. 66
жена — Кикутс Мильда Францевна, 27 лет (в 1937 году) проживала: Ленинград, наб. Рошалья, д. 12, кв. 1
сын — Кикутс Анри, 4 мес. (в 1937 году)
сын — Кикутс Ян, 1 год (в 1937 году)

Арестован 16 июля 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—6 (шпионаж), 58—8 (террористический акт), 58—9 (диверсия), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 10 января 1938 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 15 января 1938 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 7 апреля 1956 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 10 января 1938 года в отношении Кикутса П. Р. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Кикутс П. Р. по данному делу реабилитирован.

Кикутс П. Р. в СССР приехал в 1932 году из Латвии как политэмигрант.

Архивная копия

Латвийская ССР

Министерство культуры

Главное Управление радиоиформации

21 мая 1955 года

Петра Рудольфовича Кикутса, 1907 года рождения, я знаю с 1932 года. В то время Петр Кикутс отделился от социал-демократов и начал издавать революционную газету «Паматшкіра» («Основной класс»), которая резко выступала против социал-демократов, защищала интересы революционного рабочего класса и писала правду о Советском Союзе, показывая его огромные достижения в строительстве социализма. В то время я в качестве представителя левого рабочего органа «Крейса фронте» («Левый фронт») несколько раз встречался с Петром Кикутсом. В своих беседах мы совместно намечали дальнейшее направление обоих изданий, стремясь к тому, чтобы публикуемые в газетах статьи резче выступали против буржуазного строя в Латвии.

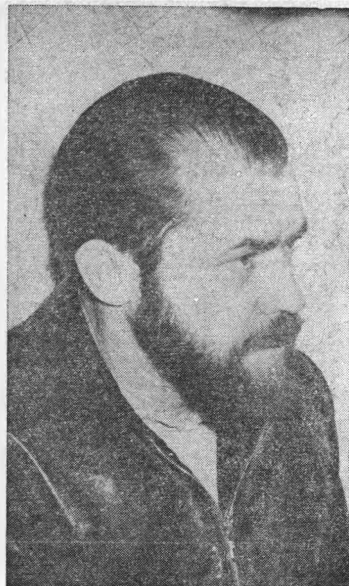
Петр Кикут был страстным революционером-борцом, одаренным журналистом и хорошим поэтом. Все свои силы и знания он отдал борьбе за светлое будущее трудящихся. Полиция буржуазной Латвии следила за его деятельностью, лидеров социал-демократии неистово тревожили статьи газеты «Памат-

шкира» и в 1932 году, желая избавиться от него, буржуазия Латвии заключила Петра Кикутса в тюрьму.

Индрикис Кришьянович Леманис
Начальник Главного управления
радиоинформации Министерства
культуры Латвийской ССР, писа-
тель

Из книги «Писатели Ленинграда»

Кикутс Петр (Петерис) Рудольфович (24.VII.1907, близ Мариенбурга, Латвия — 1937), поэт, прозаик, переводчик. Окончил юридический факультет Рижского университета (1931). Член латышской социалистической партии (1928—1931), выступал за создание латышской компартии, издавал газету «Основной класс» (на латышском языке). Несколько раз сидел в тюрьме в буржуазной Латвии. Был заочно приговорен к четырем годам каторги. Эмигрировал в СССР. С 1932 год жил в Ленинграде. Выступил как поэт в 1924 году. Автор поэмы «Машина (1930), участник «Антологии современной латышской поэзии». Переводил на латышский язык Маяковского, Пастернака, Безыменского, с белорусского — В. Александровича, с немецкого — Вейнерта, Бехера. В московском и ленинградском латышских театрах шел его водевиль «Андрей Вонуляпа», в журналах печатались рассказы и стихи (см.: «Мой товарищ по камере. Вступление в поэму» — «Лит. Ленинград», 1936, 17 декабря). Подготовил к печати сборник «Мост». Являлся членом Международной организации латышских писателей, секретарем оргбюро ленинградской секции латышских советских писателей. Делегат Первого съезда советских писателей (1934).



**Анатолий
Дмитриевич
КЛЕЩЕНКО**

1921—1974

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Клещенко Анатолий Дмитриевич, 1921 года рождения, уроженец д. Поройки Молоковского района Ярославской области, русский, беспартийный, внештатный сотрудник газеты «Смена», проживал: Ленинград, пр. К. Либкнехта, д. 28/1, кв. 69.

Арестован 13 февраля 1941 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 17—58—8 (подстрекательство совершению террористического акта), 58—10 ч. 1 (антисоветская агитация и пропаганда), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

20 мая 1941 года Военный Трибунал Ленинградского Военного округа приговорил Клещенко А. Д. к лишению свободы сроком на 10 лет с последующим поражением в политических правах сроком на 5 лет.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 20 августа 1957 года приговор Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 20 мая 1941 года в отношении Клещенко А. Д. отменен, и дело за недоказанностью обвинения прекращено.

Клещенко А. Д. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Клещенко Анатолий Дмитриевич (14.III.1921, д. Поройки, ныне Ярославская область — 9.XII.1974), поэт, прозаик. Учился заочно на филологическом факультете Ленинградского университета, был сотрудником отдела литературы и искусства газеты «Смена». С 1941 по 1956 год жил и работал на Северном Урале, потом в Красноярском крае. Скончался во время поездки по Камчатке.

Гуси летят на север: Стихи. Л., 1957; Тибетские народные песни: Пер. с кит. Стихи. М.—Л., 1958; Добрая зависть: Стихи. Л., 1958; Избушка под лиственницами: Рассказы. Л., 1959 и др. изд.; Распутица кончается в апреле: Повесть. М.—Л., 1962; Когда расходится туман...: Повести и рассказы. М., 1963; Без выстрела. Л., 1963; Дело прекратить нельзя: Повесть. М.—Л., 1964; Камень преткновения; Распутица кончается в опреле; Когда расходится туман: Три повести. М.—Л., 1966; Сила слабости; Плечо пурги: Две повести. Л., 1966; Это случилось в тайге: Повесть. Л., 1969; Это случилось в тайге: Повести. Л., 1976; Ожидание: Стихи. Л., 1979.

ТОТ АВГУСТ 1941 ГОДА

Перед войной репрессии партийных и советских работников, крупных военачальников, интеллигенции, рабочих и крестьян не прекратились. Пришлось и мне пройти все круги сталинского ада в тюрьмах, лагерях и ссылке.

Нас было четверо, все 1921 года рождения. Мы любили стихи и сами начинали писать. Особенно увлекались поэзией Есенина, Гумилева, Клюева, Мандельштама, других поэтов, считавшихся в то время антисоветскими и запрещенными. Всех нас за это-то распространение стихов Есенина и других поэтов в начале 1941 года по доносу и арестовали.

Поместили нас в разные камеры-одиночки в «Большой дом» — так называлась тюрьма, которая находится на Литейном проспекте. Следствие вел молодой лейтенант (фамилии его не помню, но при желании можно установить), на допрос он вызывал только ночами, а днем спать в камере не разрешалось. Дежурный по тюрьме приводил в кабинет следователя и начинался допрос — требовалось признание в антисоветской деятельности. Следователь видел бессмысленность дела (не мог он этого не видеть), по ходу допроса часто говорил, что органы КГБ не ошибаются, что, когда лес рубят, то щепки летят, когда ловят рыбу, то берут и маленькую рыбешку, и вообще, коль мы попали в «Большой дом», то лучше во всем признаться и отправиться в исправительно-трудовой лагерь, чем томиться в одиночной камере.

Суд состоялся 20 мая 1941 года в Военном Трибунале на Дворцовой площади. Приговор: по 8 и 10 лет исправительно-трудовых работ. После суда в «черном вороне» нас привезли в тюрьму и поместили в разные, но уже большие камеры, в которых находилось больше 100 человек. Среди них в камере было много ученых — академиков, докторов наук, профессоров, разных специалистов, работников искусств, и утром, после того как убирались щиты, на которых мы спали ночью, можно было услышать: «Кто желает изучить английский язык, подходите ко мне», «Кто хочет послушать лекцию по истории древней Руси — ко мне», «Кто интересуется точными науками — ко мне».

О том, что 22 июня 1941 года началась война, мы не знали. Узнали значительно позже, когда нас всех ночью эвакуировали в «Кресты» в июле 1941 года. А в августе в товарных вагонах, совершенно не приспособленных для перевозки людей, отправили на восток — сначала в Свердловск, затем в «Севураллаг» (Серовский район, ст. Сосьва). Везли нас несколько месяцев (на запад шли войска, военная техника), подолгу находились в тупиках, давали соленую тюльку и почти не было воды.

В статье Е. Богословской «Орден Отечественной и справка о реабилитации», помещенной в газете «Час пик» № 11 за 7.05.1990 говорится, что 2500 человек заключенных 8 октября 1941 года были отправлены из Ленинграда в Сибирь — это последняя партия. До конечного пункта — в Томскую тюрьму прибыло на 754 человека меньше — по пути следования были расстреляны. Погибло много в пути и в нашем этапе.

Шла война, мы находились в лагере, в нашей просьбе в Президиум Верховного Совета СССР направить на фронт было отказано ввиду того, что мы судимы по 58-й статье. Пробыли в тюрьмах, лагерях и ссылках по 16 лет. Реабилитированы в 1957 году. В живых сейчас остался только я.

Один из нас, Анатолий Клещенко, после освобождения стал писателем, пользовался большим уважением Анны Ахматовой, Даниила Гранина, Ольги Берггольц, Юрия Германа. Он умер в 1974 году и похоронен рядом с Ахматовой в пригороде Ленинграда — Комарово.

Успел написать и опубликовать за 17 лет пятнадцать книг.

А с 1941 по 1948 год мы находились на Урале. Осужденные по 58-й статье — так называемые «враги народа» — использовались только на тяжёлых работах — лесоповале, в шахтах, на строительстве — по шестнадцать часов в сутки при минимальном режиме калорий. Потому-то и осталось нас в живых очень мало. В настоящее время я состою в «Ассоциации жертв необоснованных репрессий». Наша организация зарегистрирована Исполкомом Ленсовета, носит характер историко-просветительский, имеет утвержденные устав и программу. Нас немного, по учету всего 260 человек. Я упорно хочу разыскать кого-нибудь из того августовского этапа 1941. Но пока отозвался всего один человек — Арон Гилярович Гинзбург.

Некоторое время мы с Анатолием Клещенко находились на одном лагерном пункте, а в 1944 году из Тесьмы его этапом отправили в Верхнюю Туру. В ожидании этапа он написал стихотворение, которое посвятил мне.

Прошло 46 лет. Разбирая недавно свои бумаги, я наткнулся на эти стихи. И захотелось мне послать свои воспоминания и стихи — далекие и дорогие.

Да, вспоминать тяжело. И все же...

Будем же помнить о прошлом во имя будущего!

Вот эти стихи.

Николай Мартыненко

Значит, до свиданья. Недалек
Новый путь чрез этот лес сосновый.
Только разгорелся уголек
При знакомстве старом —

дружбы новой.

Только этот год в конце концов
Свел в яругах зацветавшим летом
Двух неоперившихся птенцов,
Практика с романтиком-поэтом.

Мачеха суровая, не мать,
Их обоих, не щадя нимало,
Жизнь сгибала, била, но сломать
Не могла, хотя не раз ломала.

Может быть, за дружеским столом
Доведется встретиться обоим
И с улыбкой вспомнить о былом,
Столько лет ходившим под конвоем.

На десятый год или восьмой
После незаметной этой даты
Оба вспомним сосны за Тесьмой,
Как врагов поверженных солдаты.

(Сосьва, 1944)

ПОЭТ ТАЙГИ И ВОЛИ

Я познакомилась с ним в 1952 году в затерянном среди тайги поселке. Местное население было изрядно разбавлено отбывшими срок в лагерях и административно высланными. Большинство из нас работало на металлургическом комбинате, в который входили шахты, обогатительная фабрика и завод. Клещенко сторожил на дальних еланях на реке Черной сено. Он заявлялся в поселок лишь раз в месяц на отметку в комендатуру да за продуктами и охотничьими припасами. Не каждый молодой человек, а Клещенко шел 31 год, станет жить один в тайге за 25 километров от поселка. Это создавало вокруг него некий романтический ореол, тем более никто не знал толком, кем он был раньше. В первый год после лагеря Клещенко работал в поселковом клубе художником. Все были безмерно удивлены, когда он бросил эту непыльную работенку, и подался в тайгу сторожить сено. И с чего взбрыкнулся парень? . .

Изредка Клещенко приносил из тайги намалеванные на продажу «ковры» с лебедями и томными красавицами, а иногда, тоже маслом написанные, небольшие картинки по заказу. Писал он грамотно, но безвкусно, это и самому ему

претило. Когда мы познакомились ближе, я не удержалась и спросила, зачем он учился живописи, если не чувствует к ней призвания. Рассмеявшись, Клещенко сказал, что получилось все случайно. Отец засаживал его за мольберт, пытаясь отвлечь сына от дурной компании во дворе.

Смеялся Клещенко по-мальчишески открыто и заразительно. В такие моменты всегда настороженно хмурое выражение его лица исчезало, оно становилось привлекательным. Перемена бывала столь быстрой, что, казалось, сдергивается маска. Этому странному парню нельзя было отказать в известном обаянии, хотя внешность его и не вызвала симпатии. Он был чуть выше среднего роста, узкоплеч и по-блатному щеголеват. В беседе он тоже не всегда был приятен, становясь без видимых причин вдруг то заносчиво язвительным и злым, то насмешливо льстивым. Скоморошество это воспринималось весьма своеобразно. То, что собеседникам в речах Клещенко не нравилось, они почитали пустым ерничеством; то, что задевало сокровенные струны души, — расценивали как откровение.

Он быстро и легко, если хотел, становился своим везде. С местными охотниками мог увлеченно, часами, говорить о собаках и ружьях, с любителями рыбной ловли — о рыболовных снастях, а с теми, кто интересовался литературой, — о книгах. Я удивлялась и завидовала тому, как много он успел прочесть. По возрасту нас разделяло всего около трех лет, но мне тогда имена А. Белого, А. Платонова, Кафки не говорили ничего. . .

Как-то пришел, когда я чинила унты. Вдоволь поиздевавшись над моей «безрукостью», Клещенко в конце-концов пожалелся и залатал расплывшийся мех быстро и очень ловко. Он вообще умел делать многое из того, что не давалось «гнилой интеллигенции» — пилил и колол дрова, шил бродни, делал лыжи, солил рыбу. А вот со стиркой у него получалось плохо, хотя он даже пытался механизировать этот, по его словам, «бабский труд». Он прибивал свои рубашки за подол гвоздем к перекинутой через ручей лесине, так чтобы они полоскались в воде. Удивительно ли, что стирка стала моей монополией.

Как-то он встретил меня после смены и мы поднялись на фабрику на гору. Оттуда открывался вид на лежавший в распадке поселок. Петляя между заснеженных сопок, убегала на юг, к скованной льдом быстрой Ангаре, а за нею в Канск, трасса. Триста километров отделяло нас от железной дороги, три с половиной тысячи — от Ленинграда, города где про-

шли наши детство и юность. Там, на Невском, наверно, уже продавали мимозу, а здесь морозы стояли еще в 35 °С. Вероятно, мы оба думали если не об одном, то о чем-то схожем, потому что он вдруг положил мне на плечо руку:

— Скоро весна. В тайге будет сказка. Ты манок на рябков не потеряла? . .

Ресницы и брови его были белыми от изморози.

Уходя через пару дней к себе на Черную, он сунул мне при прощании толстую, в дерматиновой обложке тетрадь. И, пытаясь усмехнуться, не произнес, а скорее, выдохнул:

— Вот... Это — я... Не продашь? . .

Ночь я не спала — читала и перечитывала его стихи. Так вот кем он был — этот непутевый парень! Вот почему бросил клуб и ушел в тайгу сторожить сено. . . Тетрадь говорила, что передо мной не любитель, кропающий стишки, а сложившийся поэт, со своим, пусть негромким, зато без показной приподнятости чувств, голосом. Настолько-то я в литературе разбиралась. Стихи Клещенко были просты и безыскусны так же, как окружающая нас северная природа.

Анатолий Дмитриевич Клещенко родился в деревне Поройки Ярославской области. Семья его вскоре переехала в Ленинград, но, вероятно, в душу мальчика успела запасть осенняя грусть туманов над опустевшим полем, запах дыма, ширь малиновых закатов над рекой. . . Стихи о природе он начал писать рано. Ему никогда не хотелось стать летчиком или капитаном дальнего плавания, только — поэтом. После окончания школы Клещенко поступил на филологический факультет Ленинградского университета и стал членом литературной группы при газете «Смена». На ее страницах начали появляться его стихи: но «толстые» журналы признавать поэтический талант Клещенко не торопились. Путь на Олимп оказался не так-то прост.

В ту пору Клещенко увлекался Есениным и вершиной поэзии почитал его «Москву кабацкую», пребывал в полной уверенности, что настоящее искусство и богема неразделимы. О том, что поэзия не бражничество и не только талант, а неустанный поиск и изматывающий труд, он начал догадываться, когда пришел в литературное объединение при Союзе писателей, которым руководил А. И. Гитович. У него Клещенко учился требовательности к себе, литературной честности. В объединении он познакомился с В. Шефнером, А. Чивилихиным, В. Лифшицем, однако дружбы в те годы между ними не возникло. Клещенко еще не вышел из периода, когда самоутверждение личности преобладает над мно-

гими чувствами. Он предпочитал читать свои стихи в компании окололитературной молодежи, где его почитали как поэта, лишь немногим уступающего Есенину. Друзья скандировали Вертинского и скорбели, что родились слишком поздно, а настоящая литература умерла...

Между тем литературные дела Клещенко складывались все успешней. Его начали печатать в ленинградских журналах. Летом 1940 года «Литературный современник» опубликовал его стихотворение «Вийон читает стихи». Но все перечеркнул неожиданный, в феврале 1941 года, арест. В мае он и еще трое из скорбевших, что родились слишком поздно, — В. Мартынов, М. Майсаков и Н. Мартыненко — предстали перед Военным Трибуналом.

Клещенко, опасаясь побоев, подписал все предъявленные ему обвинения, а они были страшные. Его обвиняли в создании контрреволюционной молодежной организации нацистского толка, которая ориентировалась на фашистскую Германию и искала связей с троцкистско-зиновьевским подпольем. И хотя на суде Клещенко пытался отказаться от своих показаний, по статье 58 пункт 8 часть 17, 58—10 и 58—11 он и В. Мартынов были осуждены на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. М. Майсаков и Н. Мартыненко получили по 8 лет.

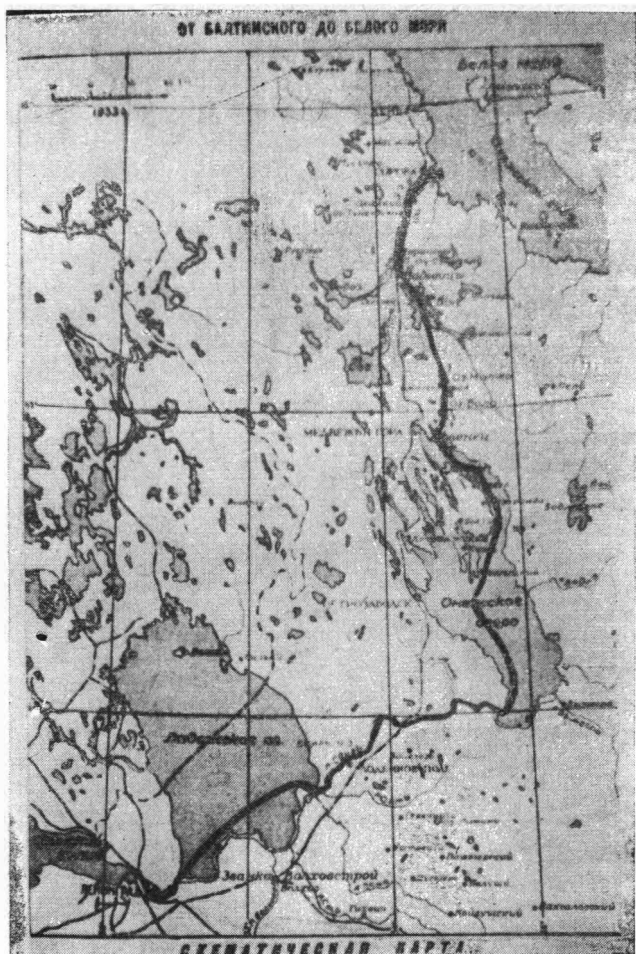
Как ни покажется на первый взгляд странным, в зоне Клещенко не только не перестал писать стихи, но и сформировался как поэт. После кратковременного шока жесткая обнаженность лагерного быта, обострив восприятие мира, заставила его опять уже более осмысленно, искать самовыражения в поэзии.

Впереди было девять долгих лет. Клещенко огляделся и решил стать русским Франсуа Вийоном. Таким, каким увидел его еще до ареста и описал в стихах:

... тонкий и хилый
Вор, и шут, и кабацкий поэт...

Не знаю, где хранил Клещенко свои стихи в лагере. Работая художником в клубе, он прятал тетрадь среди кистей и красок, на Черной — в сене... Когда я ему возвратила ее и сказала, что потрясена и что по-моему половину, а то и две трети наверняка можно печатать, он усмехнулся. А потом небрежно уронил, что он, как-никак, а был членом Союза писателей.

Можно ли его упрекнуть за эту небольшую ложь?



Великий скорбный путь, вымощенный арестантскими костями, — Беломорканал

Между тем режим в поселке стал ужесточаться, поползли слухи, что скоро у нас будет зона. Клещенко прибегал теперь с Черной на лыжах почти каждую неделю. Мы решили с ним сделать подборку стихов для книги (а вдруг, когда-нибудь?) и переправить при первой же возможности в Ленинград моей маме: если что произойдет, там стихи сохранятся верней.

Смерть Сталина ничего не изменила в нашем положении, но все-таки мы вздохнули посвободней — появилась надежда... Правда, робкая, потому что оставался Берия. Как известно, пересмотр дел «политических» и их реабилитация начались после XX съезда КПСС. Нас было много, и мы должны были, набравшись терпения, ждать...

Мы вернулись в Ленинград осенью 1956 года. А через год в издательстве «Советский писатель» (Ленинградское отделение) уже вышел первый сборник стихов А. Клещенко «Гуси летят на север». Он был составлен почти полностью из вещей, написанных в Сибири.

Нет, Клещенко не был встречен победными фанфарами. По приезду он не раз обошел ленинградские журналы, предлагая свои стихи, и повсюду наткнулся на глухую стену. Неизвестного никому автора печатать не хотели. Ему говорили, что портфель редакции полон, что природа и охота, конечно, темы вечные, но читателю нужнее сегодняшней день. У него не отнимали надежду — предлагали занести что-нибудь еще...

Клещенко нервничал: долги росли, я после тяжелой болезни никак не могла оправиться, а у нашей трехлетней дочери открылся процесс в легких. Только потом я поняла, каково пришлось ему, никогда не заботившемуся не только о других, но и о себе, оказаться вдруг в роли кормильца и главы семьи. Не знаю, чем бы все могло кончиться, если бы не помог А. И. Гитович. Он убеждал секретаря Ленинградского отделения Союза писателей, работников журналов и издательств в том, что они обязаны помочь Клещенко — это их гражданский долг. «Он не успел стать членом Союза, — говорил Гитович, — значит, надо дать ему «зеленый свет» и принять как можно скорей. Ведь то, что было с ним, могло случиться с любым из нас...»

Только благодаря А. И. Гитовичу, в 1957 году вышел первый сборник стихов А. Клещенко, а через год — второй, «Добрая зависть», и Анатолия приняли в члены Союза писателей. Это было уже определенное социальное положение, появились и деньги. Можно было передохнуть, частично отдать долги...

Второй сборник стихов собирался наспех и оказался художественно слабее первого. Друзья не могли не заметить этого, но промолчали. Кроме шести стихотворений и небольшой поэмы «Браконьеры» все вещи, вошедшие во второй сборник, были написаны в первый год в Ленинграде, когда Клещенко только начал осваиваться в новой для него жизни.

А это было трудно. Он оказался в роли пассажира, оставшего от своего поезда, где ехал на третьей полке, и вскочившего на ходу в международный экспресс, где все купе заняты.

— Слушай, — сказал он мне однажды вечером, — бросим всю эту муру к черту. Уедем на Енисей или на Ангару, купим дом, будем опять рыбачить вместе, охотиться...

Я растерянно молчала.

Неужели он не понимал, что это невозможно? А дочь, а мои старики, которые скоро станут совсем беспомощными? Да и я сама... после болезни я просто не выдержу той нагрузки, которая на меня неизбежно там упадет... Он понимал.

— Но что же делать? Я стихами зарабатывать не могу. Возможно, я совершила ошибку, когда сказала:

— Попробуй прозу.

— Хорошо тебе говорить. Я же этой жизни не знаю.

Но мне не хотелось его отпускать.

— Ты знаешь многое, чего здесь не знает никто. Материала на всю жизнь хватит...

Каждый день я сидела теперь за машинкой — проза не стихи.

Первая книга рассказов А. Клещенко вышла в 1961 году. В нее вошло 9 рассказов и повесть, название которой — «Избушка под лиственницами» — было вынесено на титульный лист книги. Эта повесть была его первой прозаической вещью. В ткань ее органично входят стихи, кроме того, она во многом автобиографична. Избушка на реке Светлой, это — сторожка на Черной, а художник Виктор — сам автор.

Проза у Клещенко пошла. Он много и с удовольствием стал работать, с легкостью переносясь воображением в привычный для него мир тайги и небольших таежных поселков, где все за дальностью расстояний и времени стало полным поэзии, простым и понятным.

Быт наш все еще не был устроен — мы кочевали с места на место, снимая на разные сроки дом или полдома, как получалось, то в деревне на Валдае, то в Комарове, то в Приозерске. Последние полтора года перед окончательным переездом в Ленинград жили на хуторе в трех с половиной километрах от Приозерска. Дом стоял в лесу на берегу Вуоксы. Ближайшие соседи были на той стороне озера. Летом на лодке, а зимой на финских санях я или дочка ездили туда за молоком. Клещенко все свободное время рыбачил. Пожалуй, нигде он так много и успешно не работал, как там. Под

Приозерском он написал большую, очень поэтичную повесть «Распутица кончается в апреле», несколько рассказов, задумал приключенческую повесть «Без выстрела», начал работать над другой — «Когда расходится туман».

Весной 1961 года мы получили наконец свое жилье, но с хутора на Вуоксе уехали только в конце августа.

Итак, Ленинград, двухкомнатная квартира на улице Ленина. Казалось, все окончательно устроилось. Мы жили в одном доме с В. Шефнером и часто бывали в его милой семье. Клещенко охотно печатали все ленинградские журналы — он стал там постоянным автором. Он работал по-прежнему много, но без прежнего подъема. Я пыталась внушить себе, что это просто усталость и только... Но мы оба понимали и другое — без конца эксплуатировать таежную экзотику нельзя, еще немного и пойдут повторы. Надо было выходить на какой-то другой уровень мироощущения, найти в творчестве иной ракурс. Однако вырваться из сложившихся в лагере и ссылке нравственных концепций Клещенко не удавалось. Со дня нашего возвращения в Ленинград прошло более 5 лет. Он изменил внешность, отпустил бороду, но на улице к нему все еще иной раз подходили люди оттуда:

— Давно от Хозяина?

Я тоже их узнавала... Нет, помочь ему войти в мир, не задетых колесом массовых репрессий друзей и знакомых я не могла, потому что сама продолжала чувствовать в нем себя скованно.

Мы все больше и больше отдалялись друг от друга. Я по-прежнему еще какое-то время печатала его рукописи. И по ним, а не от него, узнавала, что он входит в новую жизнь. Но он слишком юным попал в лагерь, а заложенные в юности нравственные основы преодолеть, вероятно, не удастся никому.

— Ты стал халтурить, — сказала я как-то. — Зачем так гнать?

— Будто не знаешь, — недобро усмехнулся он. — Здесь повсюду нужны деньги.

Вскоре он переехал в Комарово на литфондовскую дачу, мы с дочерью остались в городе. Большинство его новых друзей даже не подозревало о нашем существовании. Мы были из его прошлого, от которого он всеми путями стремился оторваться, забыть...

Он женился на работавшей в Союзе писателей двадцатилетней девушке. Со дня развода мы не встречались, но я следила за его творчеством, в свое время оно было мне так близко.

В 1964 году на прилавках книжных магазинов появился сборник рассказов А. Клещенко «Дело прекратить нельзя». В него вошли старые, не раз мною перепечатанные четыре рассказа и повесть, во время работы над которой мы расстались. Через два года в Лениздате вышли в одной книге две новые повести: «Сила слабости» и «Плечо пурги», а в 1969 году еще одна — «Это случилось в тайге» — и Клещенко перебрался в Петропавловск-Камчатский. Он уже бывал там прежде у Б. Странатковского, старого школьного приятеля, работавшего на рыболовном сейнере. Очевидно, в том окружении он чувствовал себя свободнее. Да и природа Камчатки не могла не привлечь его первозданностью.

Последние годы Клещенко работал охотинспектором и подолгу пропадал в тайге, где чувствовал себя полным хозяином. Осенью 1974 года он сильно простудился на промысле соболя. До ближнего поселка Ключи его напарник несколько десятков километров большого Клещенко тащил по таежному бездорожью на волокуше. Клещенко надрывно кашлял, очень ослаб. Но в больнице не оказалось нужного лекарства, а вертолет доставить его из Петропавловска-Камчатского не смог из-за разыгравшейся непогоды.

Похоронили А. Клещенко в Комарове.

В 1979 году в издательстве «Советский писатель» вышел однотомник стихов А. Клещенко «Ожидание», а в 1984 году — однотомник прозы «Долг».

Лиана Ильина

АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО

* * *

Мы язык научились держать за зубами,
а стихи — не стараться продвинуть в печать.
В Темняках,
в Магадане,
в Тайшете,
на БАМе —
проходили мы Школу Уменья Молчать.

Мы навечно останемся пылью и шлаком
для завязших у нас в неоплатном долгу,
но сказать, что согласья является знаком
даже наше молчание — я не могу!

БЕССЛАВНЫЙ СОНЕТ

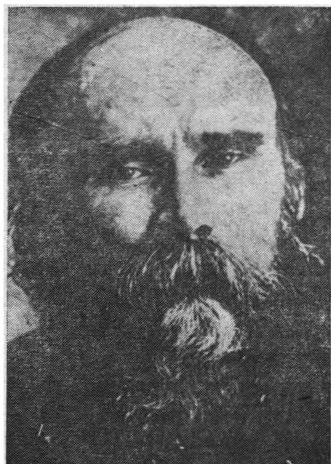
Что говорить, гордиться нечем мне:
не голодал в блокадном Ленинграде
и пороха не нюхал на войне,
и не считал взрывателей на складе.

Я даже, дружбы и знакомства ради —
причин, к тому достаточно вполне —
представлен не был ни к одной награде, —
но, видит Бог, не по своей вине.

Иных покрыла славою война,
иные доставали ордена
за нашу кровь, не оскверняя стали.
Мы умирали тихо, в темноте,
бесславно умирали — но и те,
кто убивал нас — славы не достали!

КАНАЛ ИМЕНИ СТАЛИНА

Ржавой проволокой колючей
ты опутал мою страну.
Эй, упырь! Хоть уж тех не мучай,
кто, умильно точа слюну,
свет готов перепутать с тьмою.
веря свято в твое вранье. . .
Над Сибирью, над Колымою
вьется тучами воронье.
Конвоиры сдвигают брови,
щурят глаз, чтоб стрелять ловчей. . .
Ты еще не разбух от крови?
Ты еще в тишине ночей
не балуешься люминалом
и не просишь, чтоб свет зажгли?
Спи спокойно, мы — по каналам
и по трассам легли навалом,
рук не выпростать из земли.
О тебе вспомнят наши дети.
Мы за славой твоей стоим,
раз каналы и трассы эти
будут именем звать твоим.



**Николай
Алексеевич
КЛЮЕВ**

1887—1937

Из книги «Писатели Ленинграда»

Клюев Николай Алексеевич (1887, Карелия — 1937), поэт. Родился в крестьянской семье. Получил религиозное воспитание. Много странствовал по России. В предреволюционные годы сближается с символистами и становится во главе так называемого новокрестьянского направления в поэзии. Оказал влияние на раннее творчество Есенина. Н. Клюев приветствовал некоторые завоевания революции и в то же время выступал защитником консервативных порядков. После 1928 года печатался мало. Краткую автобиографию см. в книге «Современные рабоче-крестьянские поэты в образцах и автобиографиях» (1925). Архив находится в ЦГАЛИ, ИМЛИ, ГЛМ.

Сосен перезвон. М., 1912 и 1913; Лесные были. М., 1912; Братские песни. М., 1912; Братские песни: Кн. вторая. М., 1912; Лесные были: Кн. третья. М., 1913; Мирские думы. Пг., 1916; Красная песня: Стихи. Пг., 1917; Медный кит. Пг., 1919; Песнослов: Кн. первая. Пг., 1919; Песнослов: Кн. вторая. Пг., 1919; Песнь солнценосца. Земля и железо. Берлин, 1920; Избяные песни. Берлин, 1920; Львиный хлеб. Берлин, 1922 и М., 1922; Мать Суббота. Пг., 1922; Наш путь. М., 1922; Четвертый Рим. Пг., 1922; Ленин. М. — Пг., 1924 и др. изд.; Сергей Есенин. — В соавт. с П. Медведевым. Л.,

1927; Изба и поле: «Избр. стихотворения. Л., 1928; Стихотворения и поэмы. Л., 1977 («Б-ка поэта», Малая серия).

ГАМАЮН — ПТИЦА ВЕЩАЯ

2 февраля 1934 года к поэту Николаю Клюеву, жившему в крохотной квартирке в полуподвале дома № 12 по Гранатному переулку, нагрянуло ОГПУ. Оперуполномоченный Н. Х. Шиваров прихватил с собой дворника дома К. И. Сычева — как сказано в ордере на арест, «все должностные лица и граждане обязаны оказывать сотруднику, на имя которого выписан ордер, полное содействие». Подписал ордер заместитель председателя ОГПУ Яков Агранов.

После обыска Клюева вместе с изъятыми у него рукописями отвезли во внутренний изолятор ОГПУ, на Лубянку. Там ему дали заполнить анкету.

Год и место рождения: 1884¹, Северный край.

Род занятий: писатель.

Профессия: писатель, поэт.

Имущественное положение: нет (вписано рукой оперуполномоченного).

Социальное положение: писатель.

Социальное происхождение: крестьянин.

Национальность и гражданство: великоросс («русский» — поправляет оперуполномоченный).

Партийная принадлежность: беспартийный.

Образование: грамотен («самоучка» — вписывает оперуполномоченный).

Состоял ли под судом: судился как политический при царском режиме.

Состав семьи: холост.

Через шесть дней, 8 февраля, арестованному было предъявлено постановление.

«Я, оперуполномоченный 4-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ Шиваров, рассмотрев следственный материал по делу № 3444 и принимая во внимание, что гражданин Клюев достаточно изобличен в том, что активно вел антисоветскую агитацию путем распространения своих контрреволюционных литературных произведений, постановляю:

¹ По другим источникам год рождения Н. Клюева 1887 (Ред.).

Клюева привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58—10 УК РСФСР. Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей».

Арестованный «достаточно изобличен» еще до начала следствия. Во-первых, есть указание Ягоды, да и для кого в Москве секрет — кто такой Клюев! Сами братья-писатели заклеямили его как «отца кулацкой литературы», изгнали из своих рядов, ни одна редакция его не печатает. Кормится он, читая стихи на чужих застольях, говорят, и милостыню на церковной паперти просит. . .

Все так и было: и нищета, и открытая враждебность официальных кругов, и травля в печати. И предрешенность дальнейших событий. Цепочка злого навета дошла до самого верха: по свидетельству тогдашнего ответственного редактора «Известий» И. Гронского, арест санкционировал сам Сталин.

Словом, дело Клюева было для оперуполномоченного очевидным, и он провернул его быстро — всего за месяц.

15 февраля состоялся решающий допрос. В протоколе содержатся важные данные, касающиеся родословной поэта:

«Уроженец Новгородской губернии, Кирилловского уезда, Выденской волости, деревни Мокеево. . .¹

В 1906 году был приговорен к шестимесячному тюремному заключению за принадлежность к «Крестьянскому союзу», в 1924 году в г. Вытегре арестовывался, но был освобожден (без предъявления обвинения).

Семейное положение: брат Петр Клюев, 53 года, рабочий, живет в Ленинграде; сестра Клавдия Расщеперина, 55 лет, живет в Ленинграде.

Имущественное положение: жил всегда личным трудом.

Образовательный ценз: двухклассное уездное училище.

Служба у белых: не служил».

Протокол допроса содержит отрывки из неизвестных до сих пор стихов поэта. Надо только иметь в виду, что, хотя внизу каждой страницы есть подпись Клюева: «Записано с моих слов верно и мною прочитано» — все же составил протокол, направляя его по-своему, оперуполномоченный. Вряд ли, например, Клюев мог назвать свои взгляды реакционными. . .

Вопрос: Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваше отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти?

¹ Н. Клюев, как и его отец, был приписан к этому месту; родился поэт в деревне Коштуги Вытегорского уезда Олонецкой губернии.

Ответ: Мои взгляды на советскую действительность и мое отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями.

Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитан на древнерусской культуре Корсуня, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней, допетровской Руси, певцом которой я являюсь.

Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси. Отсюда мое враждебное отношение к политике компартии и Советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.

Вопрос: Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?

Ответ: Мои взгляды нашли исчерпывающее выражение в моем творчестве. Конкретизировать этот ответ могу следующими разъяснениями. Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении «Если демоны чумы, проказы и холеры...», в котором я говорю:

Год восемнадцатый
на родину-невесту,
На брачный горностаи,
сидонский опалы
Низринул ливень язв и
сукровиц обвалы,
Чтоб дьявол-лесоруб
повыщербил топор
О дебри из костей и
о могильный бор,
Несчитанный, никем
не проходимый. . .

А дальше:

Чернигов с Курском
Бык из стали
Вас забодал в чуму и оспу,

И не сиренью — кисти
в роспуск, —
А лунным черепом в окно
Глядится ночь давным-давно.

И там же:

Вы умерли; святые грады,
Без фимиама и лампы
До нестареющих пролетий.
Плачь, русская земля, на свете
Несчастней нет твоих сынов.
И алмазный засов
У врат лечебницы небесной
Для них задвинут в срок
бездельный. . .

Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей «Песне Гамаюна», в которой говорю, что

И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!

И дальше:

Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север — лебедь ледяной —
Истек бездомною волной,
Оповещающая корабли,
Что больше нет родной земли.

Более отчетливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале, в котором я говорю:

То Беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тетка Фекла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слезы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи. . .

А дальше:

Россия! Лучше б в курной саже

Чем крови шлюз и вошьи гати
От Арарата до Поморья.

Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая Коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение. Такое восприятие выражено в стихотворении, в котором я говорю:

Скрипит иудина осина
И плещет вороном зобатым,
Доволен лакомством богатым,
О ржавый череп чистя нос,
Он трубит в темь: колхоз,
колхоз!

И подвязав воловий хвост,
На верезг мерзостной свирели
Повылез черт из адской щели, —
Он весь мозоль, парха и гной,
В багровом саване, змеей
По смрадным бедрам опоясан. . .

Мой взгляд на коллективизацию, как на процесс, разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа, я выразил в своей поэме «Погорельщина», в которой картины людоедства я заканчиваю следующими стихами:

Так погибал Великий Сиг,
Заставкою из древних книг,
Где Стратилатом на коне,
Душа России, вся в огне,
Летит по граду, чьи врата
Под знаком чаши и креста.

Вопрос: Кому вы читали и кому давали на прочтение цитируемые здесь ваши произведения?

Ответ: Поэму «Погорельщина» я читал главным образом литераторам, артистам, художникам. Обычно это бывало на квартирах моих знакомых, в кругу приглашенных ими гостей. Так, читал я «Погорельщину» у Софьи Андреевны Толстой, у писателя Сергея Клычкова, у писателя Всеволода Иванова, у писательницы Елены Тагер, группе писателей, отдохавших

в Сочи, у художника Нестерова и в некоторых других местах, которые сейчас вспомнить не могу.

Остальные процитированные здесь стихи незаконченные. В процессе работы над ними я зачитывал отдельные места — в том числе и стихи о Беломорском канале — проживающему со мной в одной комнате поэту Пулину. Некоторые незаконченные мои стихи взял у меня в мое отсутствие поэт Павел Васильев. Полагаю, что «Песня Гамаюна» была в их числе».

Еще через пять дней, 20 февраля, обвинительное заключение было готово. Клюев обвинялся в преступлениях, предусмотренных статьей 58—10, «в составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений. В предъявленном ему обвинении сознался. . .»

Полагая, что приведенные Ключевым показания, виновным его подтверждают, Шиваров постановил: «Считать следствие по делу законченным и передать его на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ». «Согласен», — наложил резолюцию помощник начальника СПО ОГПУ Горб. «Утверждаю» — начальник СПО ОГПУ Г. Молчанов.

На заседании Коллегии ОГПУ 5 марта Клюев шел по счету восемнадцатым.

«Постановили: . . . заключить в исправтрудлагерь сроком на 5 лет с заменой высылкой в г. Колпашев (Западная Сибирь) на тот же срок.

Дело сдать в архив».

Но Особому Совещанию пришлось заниматься Ключевым еще раз, когда вскоре, видимо, благодаря ходатайствам С. А. Клычкова, А. М. Горького и Н. А. Обуховой удалось добиться смягчения его участи.

17 ноября 1934 года: «Постановили: Ключеву. . . разрешить отбывать оставшийся срок наказания в г. Томске».

Уже из ссылки Клюев пишет ближайшему другу Сергею Ключкову: «Я сгорел на своей «Погорельщине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Федора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть. . . Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей. . . Вспомни обо мне в этот час — о несчастном, бездомном старике поэте. . . Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот

дожди, немолчный ветер — это зовется здесь летом, затем свирепая пятидесятиградусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали в общей камере шалманы. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда идти? Что делать? .. Бормочу с тобой, как со своим сердцем. Больше некому... Прощайте, простите! Ближние и дальние. Мерзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело мое, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости! Целую тебя горячо в сердце твое...»

Один из лучших поэтов России брошен в далекую ссылку — в нищету, бездомность, одиночество, унижение — помирать. А в это время в Москве с большой помпой проходит Первый съезд советских писателей. И мало кто из делегатов вспоминает о Клюеве, все они на этом торжестве приветствуют светлое настоящее и еще более светлое будущее, в котором многие из них скоро пойдут вслед за Клюевым той же скорбной дорогой на эшафот.

Дальнейшая судьба Николая Клюева долгое время была окутана легендами и домыслами, и лишь недавно стали известны ее подробности.

В Томске тяжело больного, доведенного до отчаяния поэта снова арестовали, заключили в тюрьму и расстреляли по постановлению «тройки», как указано в документах, «22—25(?) октября 1937 года». Где он похоронен, неизвестно.

Реабилитирован Клюев полностью только в 1988 году.

К следственному делу Клюева как улика, как вещественное доказательство преступления приложены стихи. Оформлены они так: «Разруха». Цикл неопубликованных стихов. (Приложение к протоколу допроса от 15 февраля 1934 г.)».

Несколько слов об этих стихах.

Поэзия Клюева трудна для восприятия: наше беда, что родной язык нынче обеднел так же, как наша природа, и мы не только не владеем прежним богатством, но и позабыли его. Стих Клюева труден нам по причине его редкостного многозвучия, многоцветия, многомыслия, — будто вырыли из земли кованый сундук, распахнули — а там груда сокровищ, известных лишь по сказкам.

«Аввакумом XX века», «вестником Китеж-града» называли Клюева. Но все эти характеристики обращены в прошлое, а из найденных стихов встает поэт жгучесовременный и необходимый нам сегодня, более того, поэт, которого нам

еще предстоит услышать и понять. Вопреки всем своим хулителям, клеветникам и могильщикам он оказался не позади, а впереди времени.

Слово Николая Клюева не только плач по уходящей России, но и грозное предсказание. Рисуя, как на иконах, огненными мазками свой Апокалипсис, картины ада, проклиная от имени гибнущего крестьянства Сталина-антихриста, он в то же время будто смотрит в сегодняшний день, даже оторопь берет: тут и «зыбь Арала в мертвой тине», и «Волга синяя мелеет», и даже черные вести несущий «скакун из Карабаха»...

Слово Клюева — вещее, оно хранит живые корни древнерусской мистики, тайноведения. Это не стилизация под народ (такой мы уже наслушались!), а подлинный эпос, и Клюев, может быть, последний русский мифотворец.

Поэт, когда-то искренне воспевавший Революцию и Ленина, — такого Клюева мы знали. Поэт, который проклял Революцию, когда ее знамя захватили бесы, — такого Клюева мы узнаем сегодня. Но и это не весь Клюев.

Он слышал «звон березовой почки, когда она просыпается от зимнего сна», «скрип подземных рулей». Он страстно хотел найти путь в «Белую Индию», рай на земле... Утопия это или высшая правда?

Не будем чересчур пугаться его пророчеств: послание Николая Клюева, дошедшее до нас из темных недр Лубянки, — не только грозное предостережение, но и в не меньшей степени призыв к возрождению и укреплению духа.

Завещанием звучит сегодня слово поэта: «Не железом, а красотой купится русская радость».

Виталий Шенталинский

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОЭТА

Комиссия по литературному наследию поэта при СП СССР обратилась в Прокуратуру СССР с ходатайством о его реабилитации по делам 1934 и 1937 годов. Комиссия, кроме того, просила содействия в получении сведений о дате кончины Клюева, а также о его творческих рукописях, которые могли оказаться в его делах, будучи изъятыми при арестах. Был получен ответ из Прокуратуры СССР за подписью и. о. начальника отдела А. Н. Пахмутова, в котором сообщалось, что «на постановления заседания Коллегии ОГПУ от 5 марта 1934 года, Управления НКВД Западно-Сибирского

края от 13 октября 1937 года, которыми был репрессирован Ключев Николай Алексеевич, прокуратурой принесены протесты. Протесты судебными органами рассмотрены и удовлетворены. Ключев Н. А. полностью реабилитирован». Одновременно указывалось, что сведениями о рукописях и книгах поэта «органы КГБ не располагают, нет их в материалах дела. Не сохранились данные, где и когда похоронен Ключев Н. А.».

Вскоре после получения этого ответа журнал «Новый мир» (№ 8, 1988) опубликовал письма Ключева из сибирской ссылки. Эта публикация заинтересовала членов томского историко-просветительного общества «Мемориал». О результатах их поисков рассказал председатель совета общества Л. Пичурин в статье «Виновным себя не признал... Последние страницы биографии Николая Ключева», напечатанной в томской газете «Красное знамя» 17 февраля 1989 года.

Томский «Мемориал» был ознакомлен с некоторыми материалами последнего следственного дела поэта. Выяснилось, что Ключев был вторично арестован в Томске (по санкции прокурора воинской части) 5 июня 1937 года. При аресте были изъяты тетрадь на четырех листах, шесть страниц отдельных рукописей, девять книг и удостоверение личности, выданное Томским горотделом НКВД (ни рукописи, ни книги в деле не сохранились). В протоколе первого допроса (6 июня 1937 года) зафиксирован единственный вопрос следователя о причине ареста и высылки Ключева из Москвы и ответ поэта, уже известный читателям «Нового мира» (распространение «Погорельщины» в литературных кругах Москвы и Ленинграда). Обвинение было предъявлено Ключеву на втором допросе (9 октября 1937 года). Его объявили «активным сектантским идеологом» якобы существовавшей в Сибири повстанческой организации «Союз спасения России» (одной из целей этой фиктивной организации, по версии обвинения, было восстановление на престоле династии Романовых).

Далее Л. Пичурин пишет:

«К чести Николая Алексеевича, виновным он себя не признал, заявив, что «ни в какой контрреволюционной организации не состоял, к свержению Советской власти не готовился». Более того, когда в конце допроса ему был задан вопрос о том, что он может правдиво сообщить об организации (читай: кого он может оболгать и оклеветать), Ключев отказался от дальнейших показаний. В тот же день ему было объявлено о завершении следствия, а 13 октября 1937 года «трой-

ка» управления НКВД вынесла постановление о расстреле Клюева. . . . В самом документе о приведении приговора в исполнение, подписанном какой-то неразборчивой закорючкой, указано, что расстрелян от 23—25(?) октября 1937 года. А через двадцать три года Военный Трибунал Сибирского округа полностью реабилитировал Николая Алексеевича Клюева за отсутствием события преступления. Не мог состоять поэт в «Союзе спасения России», ибо не было такого «союза» ни в Томске, ни в Сибири. Он существовал только в воспаленном воображении верных учеников Ежова».

Итак, правда о кончине поэта стала известна через пятьдесят с лишним лет, а о его реабилитации — почти тридцать лет спустя.

Сергей Субботин

ПОЭЗИЯ И СУДЬБА НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

Долгие годы, когда Клюев был под запретом и стихи его не печатались, можно было, ничем не рискуя, выдавать за окончательную оценку эпиграмматические строки Сергея Есенина:

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка. . .

Между тем сами эти строки, если бы не их вызывающая нарочитость, вполне могли бы служить лучшим подтверждением знаменитого есенинского афоризма:

Лицом к лицу,
Лица не увидеть.
Большое видится на расстоянии.

Через полвека после Есенина наш современник поэт Николай Тряпкин, не без суровой оглядки на эпиграмму про «ладожского дьячка», сказал о Клюеве убежденно:

.. . Сей Аввакум двадцатого столетья!

Нынешний читатель может наконец воспринять творчество Клюева достаточно полно. В добавление к сборнику стихотворений и поэм, изданному в 1977 году в малой серии «Библиотеки поэта», опубликованы поэма «Погорельщина» («Новый мир», № 7, 1987) и целый ряд стихотворных подборок, обширный цикл писем Клюева к Александру Блоку конца

900-х — начала 10-х годов («Литературное наследство», т. 92, кн. 4, М., 1987), письма Клюева последних лет жизни — с 1934 по 1937 год («Новый мир», № 8, 1988). В 1986 году книга стихотворений и поэм Клюева выпущена в Архангельске.

Однако сегодняшнее восприятие Клюева требует и особой настроенности, и заинтересованных усилий. Дело не только в том, что публикации из литературного наследия, разбросанные по различным изданиям, не собраны по-настоящему под одной обложкой, не прокомментированы как целое. Есть еще и некая дистанция между миром поэзии Клюева и миром современного человека. Уже сам Клюев приложил к «Погорельщине» словарь из двадцати шести слов. В наше время публикаторам поэмы пришлось увеличить его втрое. Более пятисот архаических и диалектных слов составили словарь, включенный в сборник стихотворений и поэм 1977 года. И это лишь первая помощь читателям, которые, конечно же, нуждаются в большем, ведь им надо увидеть не только детали, но и ориентиры клюевского стиха. Поэтому так важен наряду с целенаправленной издательской деятельностью разговор о своеобразии поэзии и судьбы Николая Клюева.

Далее мы приводим беседу «За круглым столом» литературоведа Константина Азадовского, поэта Владимира Лазарева, литературоведов Ирины Роднянской и Сергея Субботина.

В. Лазарев. Возвращение творческого наследия Клюева ознаменовалось многими замечательными событиями. И, может быть, самое замечательное — публикация поэмы «Погорельщина». Недаром Клюев сказал о «Погорельщине» (и о не найденной до сих пор полностью поэме «Песнь о Великой Матери»): «То, для чего я родился». Но вот уже после этой публикации заходит в вологодской газете речь о том, что пользуется и что не пользуется сегодня успехом у молодежи, и оказывается, что в том самом северном крае, откуда пришел Клюев, его поэзия якобы не встречает отклика.

И. Роднянская. При подготовке «Погорельщины» к изданию и после выхода поэмы мне доводилось слышать от людей «передового», так сказать, склада: «музейная вещь», «мертвая архаика», «это уже никому не понятно», «зачем это узорочье?».

В. Лазарев. Наверное, кому-то и в самом деле клюевский стих представляется лишь искусным орнаментом, безжизненным, как высохший источник. Но я люблю Клюева, и для меня его поэзия — живой, пульсирующий от глубинных то-

ков родник. Как естественно льётся и полнится смыслом стихотворная речь в той же «Погорельщине»:

Ударило в било поспешно...
И, как опалый цвет черешни,
На новоселье двух смертей
Слетелись выводки гусей:
Тетерева и куропатки,
Свистя крылами, без оглядки
На звон завихрились из пуш...
И молвил свекор: «Всемогущ,
Кто клачет кровию за тварь!
Отменно знатной будет гарь;
Недаром лоси ломают роги,
Медведи, кинувши берлоги,
С котятками рябая рысь
Вкруг нашей церкви собрались...»

И. Роднянская. Можно, конечно, в ответ на непонимание и равнодушные в отношении Клюева заявить: а я — я-то люблю, трепещу, постигаю, чувствую, восхищаюсь! Готова повторить все это вслед за Лазаревым. Лишь недавно узнанный мною Клюев встал для меня — несомненно и доподлинно — в ряд великих поэтов. И все-таки надо со всей трезвостью и по возможности без гнева уразуметь, что в сегодняшней культурной ситуации Клюев еще не данность, а только задача. Клюев действительно принес с собой в культуру, в поэзию то, что сейчас принято именовать архаикой и этнографизмом. Но для Клюева это была почва творчества — живая не только на поверхности, но и на многовековой глубине. В его поэзии дышит первичная, непосредственная сила. Сказитель-«орнаменталист», трагический аэд Севера, воссоздатель древней красоты, сопрягающейся с красотой местного обряда и обычая, он при всем при этом не был стилизатором. Однако многим, не вслушивающимся и не вглядывающимся, представляется он именно таковым. Почему? Во-первых, потому, что в нашем читательском обществе заметно угашен поэтический энтузиазм, способность зажигаться от поэтического огня. Остроумная стихотворная афористика, рифмованная игра ума ценится сейчас значительно выше, чем тот подлинный экстаз, который отличает, скажем, поэму Клюева «Мать-Суббота», откуда охотно цитирую — опять-таки в качестве сподручного афоризма — одну лишь строчку: «Ангел простых человеческих дел...» Эту симфонию «избранного космоса» нельзя сегодня вполне понять без подготов-

ки — так же, например, приходится читать традиционную японскую поэзию, знакомясь из комментария с языком ее символов и иносказаний. Между тем, сразу, без всякой подготовки можно включиться в ритмическое движение «Матери-Субботы»: в переходы от идиллии сельского труда и быта к мистерии, даже оргии стихийных творящих сил и потом, когда неистовый всплеск успокаивается, снова вынырнуть на поверхность житейского распорядка, «простых человеческих дел». Но как раз это космическое чувство ритма утрачено читателем стихов, и Клюев, застывающий для такого читателя в неподвижности, кажется ему стилизованной «вещью». Во-вторых, что еще важнее, у Клюева слишком обширная, слишком разветвленная корневая система, чтобы он мог возвратиться как живая величина отдельно от своих корней. Здесь не уладишь дела ни словариками редких слов, ни пояснительными сведениями. Ушел из культурной памяти фактически целый народ в его прежнем состоянии и облике: «...И у русского народа меж бровей не прыщут рыси!» Китежанин без града Китежа может ли быть среди нас не одинок? Только духовное восстановление «града» вернет нам по-настоящему и его поэта. Тогда-то лишь и выяснится, что архаично, а что вечно в клюевском мире.

К. Азадовский. Сегодняшнее возвращение Клюева в нашу культуру вызывает отрадное чувство. Я помню свои первые шаги на этом поприще добрых двадцать лет назад. Начинал с того, что обращался к людям, знавшим Клюева лично (а тогда еще многие были живы, теперь, увы, остались единицы), с просьбой рассказать о поэте. Среди тех, кто охотно поделился воспоминаниями, назову хотя бы В. А. Мануйлова, Вс. Рождественского, А. Н. Яр-Кравченко — их свидетельства очень важны. Но, к сожалению, больше было людей, которые уходили от разговора о Клюеве. Тогда, в конце 60-х годов, после недолгой «оттепели», на пороге нового, еще не ведомого времени нелишним казалось побережться. Не могу забыть тогдашнюю реакцию на мои расспросы — различную, разумеется, но часто осторожную, недоверчивую и просто опасливую. И если сопоставить минувшее время и нынешнее, то разница откроется громадная.

В. Лазарев. Мне всегда казалось, что, если кто-нибудь всерьез проникся Клюевым, это на всю жизнь. Часто и сама эта жизнь глубоко преображается.

С. Субботин. Самое время вспомнить первого биографа Клюева — А. К. Грунтова. Человек этот прожил нелегкую жизнь. Начиная в областях, далеких от филологии, — до вой-

ны он работал в петрозаводском статистическом управлении. Провоевав три недели, попал в финский плен. Затем — десять лет наших лагерей. Вернулся в Петрозаводск, отдышался и стал заниматься краеведением, а точнее — историей революционного движения в Олонецкой губернии. В петрозаводском архиве он наткнулся на документы о Ключеве — и это перевернуло всю его жизнь. Весь остаток лет и сил был отдан одному Ключеву. Александр Константинович поехал на родину поэта, в Вытегру, расспрашивал о нем старожилов. Откопал материалы о Ключеве в фонде олонцкого жандармского управления, а тогда свидетельства о революционной деятельности так много значили для нашего официального литературоведения, для редакторов и издателей.

С дотошностью статистика Грунтов начал составлять ключевскую библиографию, принялся за летопись жизни и творчества поэта.

К. Азадовский. Что меня всегда поражало, это тот особый, поистине неисповедимый путь, каким Александр Константинович пришел к Ключеву. Был он все же не слишком искушен в литературе, но это искупалось глубокой приверженностью к своему поэту. И если будет когда-нибудь написана история изучения Ключева, то она по праву начнется с Грунтова. В. Г. Базанов — другой социальный полюс. Известный литературовед, долгие годы возглавлявший Пушкинский дом, Василий Григорьевич пришел к Ключеву своими путями. Он много занимался Есениным, русским фольклором и поэтому интерес его к Ключеву закономерен. Необходимо подчеркнуть, что публикацией в начале 70-х годов главной работы Грунтова «Материалы к биографии Н. А. Ключева», а также ряда других статей мы обязаны прежде всего Базанову, который каждый раз не боялся — брал ответственность на себя.

В. Лазарев. Я думаю, что применительно к Ключеву, можно говорить о «лестнице возвращения», каждая ступень которой оплачена чьими-то личными усилиями. Без В. Г. Базанова, без Л. К. Швецовой, составившей сборник стихотворений и поэм 1977 года, без А. К. Грунтова мы бы, пожалуй, находились сейчас только у ее подножия.

К. Азадовский. Попробуем теперь с освоенной нами высоты взглянуть на своеобразие ключевской позиции и поэзии. Деревенское, крестьянское происхождение Ключева хорошо известно. Но известно и то, что Ключев далеко не первый крестьянин, который пришел из деревни в русскую литературу, добился литературного успеха. Был уже Дрожжин, был Суриков. И обычно крестьянские поэты жаловались на свое

происхождение, болезненно ощущали превосходство городской культуры над деревенской, как бы заранее соглашаясь на второстепенную роль в литературе. А Клюев не жаловался — Клюев гордился. Он, вероятно, был первым среди русских поэтов, кто свое крестьянство поставил себе в заслугу, кто понял, что оно не унижает, а возвышает и облагораживает, кто, причисляя себя к людям земли, людям естественного, физического труда, обвинял в ущербности интеллигенцию и город. У меня есть характерная запись, сделанная за Николая Алексеевича его другом Н. И. Архиповым. Как-то, представляя Есенина и Клюева в 1915—1916 годах в одном из петроградских салонов, известный литератор сказал: «Вот крестьянские писатели, писатели из низов». «Есенин, — вспоминает Клюев, — долго плевался на такое непонятие: «Мы, говорит, Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России; самое аристократическое, что есть в русском народе». «За меня и за себя Есенин ответ дал», — добавляет Клюев. Эта широко декларируемая Клюевым позиция последовательно отражается в его стихах. Поэт воспевает, приподымает человека крестьянского труда, противопоставляя его «городским» людям, которые, как ему кажется, более далеки от земли, от природы, от Бога.

В. Лазарев. Но чем объяснить, что именно с Клюева начинается взлет гордости своим крестьянским происхождением?

К. Азадовский. Я бы искал ответ в том времени, в которое Клюев формировался как человек и художник. А это эпоха первой русской революции и того, что за нею последовало. Духовный облик Клюева определяется, с одной стороны, революционно-демократическими убеждениями, участием в революции, с другой — очень сильным религиозным чувством, устремлениями в духе толстовства, тяготением к различным религиозным группам. В этом состоянии внутреннего раздора, напряженных поисков истинного пути Клюев и сталкивается с исконно русской проблемой интеллигенции и народа, в очередной раз со всей остротой вставшей в период «Вех». Читая прессу, втянутую в круговорот полемики, но еще и общаясь с Блоком, получая его письма, Клюев, тяготившийся этим социальным и культурным неравенством, пытается определить свое собственное место. И находит — берет на себя роль «посвященного от народа». Ему незачем больше тянуться за городскими поэтами, к символистской поэтике. Раз он человек из народа, то он должен и говорить голосом

народа и о народе. Так постепенно слагается своеобразный романтический миф, запечатленный в творчестве зрелого Клюева, — некий фантастический крестьянский космос, в центре которого русская бревенчатая Изба. Его поэзия тянется к фольклору, насыщается образами, почерпнутыми из народной мифологии, из древних легенд и преданий, из прошлого России и старообрядческого русского Севера; его стихотворная речь расцветивается то местными крестьянскими словами, то экзотическими восточными названиями... И как бы ни менялась с годами манера Клюева, его поэзию всегда одушевляли Бог, природа, люди, живущие «естественно», то есть крестьяне, жнецы и пахари, люди физического труда. Не случайно будущее рисовалось поэту именно как мужицкое царство, «избяной рай»... Но глубинный импульс его поэзии — это, конечно, ощущение острого противостояния Природы и Цивилизации.

И. Роднянская. Мне бы хотелось дополнить социальный аспект явления Клюева культурно-историческим. Из блоковских «отражений» Клюева видно, что переписка их была для Блока, говоря его категориями, диалогом «стихий» и «культуры»: народа и интеллигенции, крестьянина и городского «барина». И Клюев, как мне кажется, своему адресату немного подыгрывает, до поры до времени не снимает той социальной маски «стихийного» простолюдина, которая от него тут ожидается: «...если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы Вашим». Но сам-то он в душе знает, что «у нашего брата» время для рождения образов было тысячелетнее, «образы» рождались, и это дает ему право даже и поучать: «...что по-ихнему (то есть для людей блоковского круга) неоспоримо хорошо, то по-моему, быть может, безобразно и наоборот. Взгляды на красоту больно заплывывать...»

Дело же вот в чем. На протяжении всего прошлого века русские мыслители твердили, что Петр I рассек русский народ на две нации, русскую культуру — на две культуры и что это было самое важное следствие его «революции сверху». Мы сегодня представляем себе это несколько абстрактно, так как живем уже во времена, когда все смешалось, и сами являемся продуктом некоей смеси и взвеси. Однако именно феномен «новокрестьянских» поэтов во главе с Клюевым подтвердил правоту этого исторического наблюдения и означил собой конец безраздельно-«петербургского» периода в русской культуре. Крестьянская творческая интеллигенция возникла (не без связи с подъемом экономики и просвещения

в России 1907—1913 годов) подобно тому, как формируется интеллигенция покоренных наций, и в своем самосознании немедленно противопоставила себя интеллигенции и культуре «метрополии». Не буду сравнивать с ситуацией в третьем мире, а приведу в пример Йейтса, современного и равновеликого Ключеву ирландского поэта, питавшегося родным фольклором и кельтской древностью. Это был крупнейший поэт английского языка, но поэт своего народа, своей почвы. По аналогии можно сказать, что в Ключеве заявило о себе самосознание допетровской Руси — конечно, не миновавшее школы русского европеизма (от Пушкина и Гоголя до символистов, если говорить о словесности), но настаивающее на своей принципиальной — скажу для заострения: «национальной» — независимости от модернизированного «барства». Ключев считал, что он принес с собой иное, древнее, религиозное представление о красоте — не «западное», не урбанистическое, не эстетски чувственное. Он ощутил себя не только наследником старообрядческого Севера с его своеобразной духовностью и крестьянской культурой, но и наследником Андрея Рублева, и Киевской Руси, и Византии. И я не думаю, чтобы он на сей счет слишком заблуждался.

XX век дал в русской поэзии разные варианты «планетарного» сознания, которое стало метой эпохи. Но именно у Ключева в силу его культурной наследственности («Старый лебедь, я знаю многое...») сознание это не экстенсивно, а интенсивно: четыре конца света, как и вся летопись человечества, сходятся у него в доме — в избе («...Индия в красном углу», «Беседная изба — подобие вселенной: в ней шелом — небеса, полати — Млечный Путь...») и, конечно, в храме, который и строится-то как символическое «подобие вселенной». Такая «вселенскость» не совпадает ни с космизмом Хлебникова, ни с интернационализмом Маяковского, потому что она не гостья из будущего, когда все наконец обнимутся; для Ключева она исторически и культово завещана — и непреложна есть. Ключевская «вселенскость» — это духовная связь русского Севера, где он увидел свет, издавна называемого Северной Фиваидой, с южной — пустынножительной Фиваидой, так сильно повлиявшей на древнерусскую религиозность. Но это и — шире — изначальное единство родной ойкумены, пронизанной тысячей капиллярных связей, общим культурным кровообращением еще со времен великого переселения народов; ойкумены, в которую включены и Египет, и Индия, и Палестина с Иерусалимом, и Гималаи, и татары, и норманны (соседи поморов)... И даже так: «Есть Россия

в багдадском монисто, с бедуинским изломом бровей...», что созвучно «евразийским», персидским мотивам Есенина. Всякий раз это тождественная себе Россия, дружелюбно, пожалуй что и бессознательно, вбирающая иноземное, исторически далекое без страха за свою сущность, за свое лицо. Таков тип допетровского, вообще говоря — средневекового культурного обмена, совершавшегося между традиционными общностями почти что без амбициозного государственного посредничества. Клюев, сын традиционного уклада, не растворенного до конца в представлениях Нового времени, расчистил для нас эти забытые межчеловеческие тропы.

К. Азадовский. Мы, наверное, приблизимся к пониманию и личности, и поэзии Клюева, если не будем упускать из виду именно исторический аспект. Все-таки Клюев прожил в литературе более тридцати лет и, естественно, не стоял на месте, и то, что справедливо для одного периода, в отношении другого может выглядеть натяжкой. Например, в ранние годы Клюев писал стихи вполне «городские», еще никак не связанные с «народной» традицией, которой он овладел позднее — путем усердного следования фольклору или погружения в искусство и книжность допетровской эпохи. Да и образ той древней, «изначальной» Руси, если говорить прямо, во многом определялся у него запросами современной культуры. Или, скажем, клюевский «космизм». Бесспорно, ощущение связи всего со всем, мечты о всеобщем братстве у Клюева как человека религиозного были всегда. Но концы света — Север, Восток, Запад, Юг — зримо сопрягаются в его поэзии лишь под могучим влиянием Октябрьской революции. И как раз благодаря ей стихи наполняются интернациональным вселенским содержанием.

С. Субботин. Я бы не стал так жестко связывать «интернациональный космос» Клюева с послеоктябрьским периодом. Ведь у поэта есть произведения вселенского размаха, написанные и в середине 1917, и в середине 1916 года. Вот несколько строк из стихотворения «Белая Индия», датированного 1916 годов:

На дне всех миров, океанов и гор
Цветет, как душа,

адамантовый бор,
Дорога к нему с Соловков на Тибет,
Через сердце избы, где кончается свет,
Где бабкина пряжа —

пришельцу веха:

Нырнi в веретенце, и нитка-леха
Тебя поведет в Золотую Орду,
Где Ангелы варят из радуг еду, —
То вещей раздумий и слов пастухи,
Они за таганом слагают стихи. . .

В стихах Клюев довольно скептически отозвался о сейсмографе («Не размыкать сейсмографу русских кручин. . .»). Может быть, потому, что сам обладал способностью не только чувствовать, регистрировать события, но и предчувствовать, предсказывать их.

В. Лазарев. Вообще это подлинных поэтов, какими были, конечно, и Клюев, и Есенин. . . Мне бы хотелось, кстати, несколько остановиться на этом традиционном сочетании имен. Обычно говорят, что у них одно — крестьянское — происхождение, одно — деревенское — воспитание. Но у Клюева оно основывалось на глубоком религиозном чувстве, одушевлялось мудростью древних книг, монастырской культурой, о чем Есенин, по существу, был только наслышан. И свет культуры, и сознание своей греховности Клюев обрел изначально. Как и духовность крепость. Все это в дальнейшем усиливалось, разрасталось и было, к слову, по достоинству оценено Блоком. Ни идеализация революции, ни трагическое восприятие послереволюционной действительности не исказили облика поэта. И если Есенин был смят стихией, то Клюев выстоял, и его потрясающий «Плач о Сергее Есенине» — свидетельство огромной духовной силы. И погиб Клюев не ослабевшим, не сломленным — на взлете своего таланта, оставшись в нашем сознании большим творческим поэтом эпохи. Так воспринимают его многие, и, может быть, в первую очередь люди, неразрывно связанные с традициями крестьянской жизни и культуры. Сошлюсь на признание Бориса Можаяева, а он стихи Клюева наизусть читает, говорит, что издавна помнит их, остро чувствует. То же самое относится к Федору Сухову и Владимиру Личутину.

Как нельзя лучше раскрывает человека то, с какими людьми он общается. Характерно, что уже в Томске в самые последние годы жизни Клюев встречается с учеником В. И. Вернадского геологом-почвоведом Р. С. Ильиным. Незадолго до высылки из Москвы близким по духу человеком стала для Клюева Н. А. Обухова — великая наша певица. Недавно я с отрядным чувством узнал, что техред моей первой книжки стихов, вышедшей в Туле, Лев Иванович Пулин (теперь уже покойный) был знаком с Клюевым и Николай

Алексеевич отзывался о нем очень хорошо. Не могу не упомянуть и моего давнего знакомого, тульского литератора Николая Борисовича Кирьянова. В свое время незаконно репрессированный, он долгие годы хранил в памяти фрагмент поэмы Клюева «Соловки», который только что опубликован в «Новом мире».

Стихи стихами, но и жизнь Клюева с его неустанной духовной работой, с его нерастерянностью в мире — огромный для нас урок.

И. Роднянская. Есенин — изумительный лирик, один из лучших русских поэтов XX века, возможно, превосходящий Клюева своим артистизмом, своим душевным изяществом и прямой близостью к развороченной народной массе, покинувшей медвежьи углы. Но творчество его, если воспользоваться формулой Исаковского, — «поэма ухода», невольного, со страданием, отрыва от крестьянской культуры. Эта мука ухода была созвучна времени, и Есенин уже прочитан своим временем, хотя, конечно, остался на вечном небе русской поэзии. Клюев же еще весь впереди. Его творчество — это «поэма прихода». Поэтому так важно его возвращение к нам.

К. Азадовский. Вся наша есениниана имеет тот существенный перекося, что период, важнейший в жизни Есенина — 1915—1917 годы, — освещался и освещается совершенно односторонне. Клюев из этого периода вычеркнут, если даже его имя и упоминается. А ведь в эту начальную для Есенина пору Клюев действительно формирует его: «Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка...» И не только в «Радунице», но и в революционных поэмах Есенина видны клюевские истоки. С некоторого времени Есенин, конечно, тяготился опекой Клюева, но для Клюева он был всем — и близким человеком, и духовным сыном, и братом по духу (во всяком случае, таким он хотел его ощущать). Есенин был моложе, был иначе организован, человеческий склад его был совершенно другой. И те объяснения разногласий между Есениным и Клевым, которые приводят подчас историки литературы (разное отношение к событиям 1917—1918 годов и т. п.), никак не удовлетворяют. Реальные причины конфликта гораздо глубже.

С. Субботин. Наш сегодняшний разговор начался с упоминания двух поэм Клюева, которые он считал главным делом своей жизни, — «Погорельщины» и «Песни о Великой Матери». Первая давно известна и напечатана теперь у нас полностью, вторая же пока целиком не разыскана. В журнале

«Север» (№ 9, 1986) опубликовано лишь ее начало. Эту поэму, которую Клюев писал несколько лет, поэт читал близким ему людям. К сожалению, ушел из жизни Николай Алексеевич Минх, выступавший в 1984 году в Центральном Доме литераторов на вечере, посвященном столетию со дня рождения Клюева. Тогда он сказал, что слышал «Песнь о Великой Матери» в авторском чтении полностью. Мне довелось незадолго до ее трагической кончины встретиться в Тулоне с Анастасией Алексеевной Пулиной, вдовой Л. И. Пулина, о котором уже говорил Владимир Лазарев. Она слышала отрывки из «Песни о Великой Матери» в чтении своего мужа. Ей запомнились строки о том, «что Волга синяя мелеет, что жгут злодеи кедрачи». По ее словам, Клюев описывал, как баржи с раскулаченными, с трупами женщин, стариков и детей в трюмах шли по Волге. . . И вот что еще сказала Анастасия Алексеевна: эта часть поэмы была написана «современным языком», то есть там не было никакой архаики. Надо ли говорить, как важно найти полный текст «Песни о Великой Матери», собрать сведения о ней.

К. Азадовский. Еще и еще раз мы убеждаемся в поэтической силе и живой актуальности клюевского слова. Конечно, и сегодня Клюев имеет, и немало, своих преданных читателей. Мы помним времена, когда «властителями дум» у нас оказывались Мандельштам или Пастернак — и совершенно заслуженно! Не исключаю, что в этой роли мы можем увидеть и Клюева. Во всяком случае, основания для этого есть. Мы ведь только сейчас, в самое последнее время, начали говорить о том, что произошло в нашей истории на рубеже 20—30-х годов, когда насильственным способом был разрушен, по существу, весь тот мир, которому принадлежал Клюев. Многовековая культура — духовная и хозяйственная, налаженный быт — домашний и общественный — все выродилось или вовсе исчезло вместе с оторванным от своей земли крестьянством. Страна переживала величайшую трагедию. Опережая ход истории, ее пытались приблизить к техническому веку. В итоге она катастрофически теряла свое национальное лицо. И Клюев, как никто другой из русских поэтов, со всей страстью запечатлел этот процесс. «Отлетает Русь, отлетает. . .» — сокрушался поэт в одном из своих стихотворений середины 20-х годов. Россия в поэзии Клюева многолика, она является у него в различных одеждах. Однако наиболее подлинным и в историческом, и в художественном плане представляется мне ее образ, каким он запечатлен у Клюева в его последних вещах, — образ страдающей,



Николай Клюев и Сергей Есенин 1916 год.

«страстотерпной», гибнущей в муках России. Что такое «Деревня», что такое «Погорельщина», что такое «Песья о Великой Матери», где, как мы только что услышали, по Волге везут раскулаченных? Это, конечно, реквием по дорогой для поэта стране, его родине, которая на глазах уходит в небытие, сгорает в истребительном огне и неизвестно, возродится ли когда-нибудь сызнова. Жизнь Клюева была мученичеством, страшен его последний час... И на его поэмах тоже лежит отпечаток огромной трагедии — трагедии той страны, частью которой он всегда себя ощущал.

И. Роднянская. Напоследок пусть прозвучат строки из стихотворения Клюева «Я знаю, родятся песни...». Это 1920 год, трагедия еще только предсказана:

Черный уголь, чудесный радий,
Пар-возница, гулеха-сталь
Едут к нам, чтобы в Китеж-граде
Оборвать изюм и миндаль...

Что за этим?

На столетье замкнется снова
С драгоценной поклажей ларь.

Но — дальше:

В девяносто девятое лето
Заскрипит заклятый замок,
И взбурлят рекой самоцветы
Ослепительных вещей строк.

Я вообще верю в пророчества поэтов, а в данном случае не сомневаюсь даже в точности предсказанного срока, с наступлением которого Клюев связывал второе рождение своих творений.

ДОЛИ НАРОДНОЙ ПЕВЕЦ

Легенды начинаются с самого начала его жизни. В 1986 году, т. е. в наши дни, в литературе о Клюеве можно было прочитать следующее: «Пожалуй, ни у кого из русских поэтов судьба личная и судьба творческая не были столь загадочны и противоречивы, как у Николая Клюева. Таинственны были его жизнь и смерть, во многом непонятной остается его поэзия». (Ст. Куняев. Предисловие к сб. стихотворений Н. Клюева).

О таинственной, «скрытнической» жизни поэта пишет и литературовед В. Дементьев в книге «Исповедь земли» в 1984 году: «Личность самого Клюева была не менее противоречивой, сложной, потаенной, чем жизненная среда, взрастившая его». Вс. Рождественский в книге «Страницы жизни» (1962) утверждает, что Клюев был «поэтом большой и темной силы, изощрявшим свое воображение в затейливой, пестрой, надуманной передаче какой-то самим им изобретенной сказочной заонежской жизни». «Русская деревня в представлении Клюева «выражала» не подлинное лицо деревни, народа, а психологию хуторского столыпинского кулачества».

Таинственный ореол вокруг поэта поспешил создать и В. Чивилихин. Это ему принадлежит расхожие, но далекие от истины строки: «На станции Тайга на вокзале осенью 1937 года умер от разрыва сердца большой и сложный русский поэт Николай Клюев. Его чемодан с рукописями исчез, и пока никто на свете не знает, что написал Клюев в последние годы своей путаной и таинственной жизни. (Над уровнем моря, М., 1967).

Конечно, не случайна ошибка и в энциклопедическом словаре, вышедшем в 1936 году. В краткой справке, которая характеризует Клюева, как «наиболее яркого представителя

кулацкой литературы, перепутана даже дата его рождения. Указан 1887 год, хотя по записи в метрической книге Коштугской церкви Вытегорского уезда достоверно известно, что поэт родился 10 октября 1884 года.

Что же удивляться, если спустя несколько десятилетий полного забвения «никто на свете не знал» подлинных обстоятельств его трагической жизни. Впрочем кто-то и знал, но вынужден был до поры до времени молчать. Слава богу, «Огонек» в 1984 году сделал большую подборку материалов к 100-летию «олонецкого ведуна», положив конец легендам о его рождении. Однако о страшной правде последних лет его жизни, отнюдь не «потаенных» и не «таинственных», мы узнали только благодаря публикации Г. Клычкова и С. Субботина в «Новом мире» № 8 за 1988 год «Николай Клюев в последние годы жизни: письма и документы». Стало ясно, что высланный весной 1934 года органами ОГПУ по ложному обвинению в «кулацкой агитации» (ст. 58—10 УК РСФСР) Клюев оказался в июне этого же года в поселке Колпашево на территории Нарымского края, а в октябре был переведен в Томск. Удалось установить теперь и точную дату его гибели: он был расстрелян в городской тюрьме 23—25 октября 1937 года.

Так что ничего «таинственного», «темного», «путаного», «скрытного» в судьбе поэта нет. По мере того, как все меньше становится в истории нашей «белых пятен», все яснее и прозрачней становится прошлое. Мы видим людей на заре нашей эпохи не сквозь вуаль «секретности» и «бдительности», а такими, какими они были на самом деле — живыми и ничуть не загадочными.

Известна, например, клюевская страсть к старине, к древним рукописям, книгам, иконам. Уже будучи в ссылке, поэт в своих письмах В. Горбачевой постоянно напоминает, какие вещи, дорогие для него, следует сохранить после выдачи его имущества, оставшегося на квартире в Гранатном пер., 12, где поэт был неожиданно арестован и выслан в Сибирь. Среди предметов его особой заботы — древние иконы, перевезенные в Москву из Ленинграда в 1931—1932 года. В свою очередь в наш город они были доставлены из Олонецкой губернии, с родины поэта.

«Не сообщите ли мне, сколько икон сохранилось? — пишет Клюев. — Складня было три. Успение большое, два аршина высоты, на полуночном фоне — черном. Икона весьма истовая: «Спас стоит — позади его олонецкая изба — бога-

тая, крашенная — с белыми окнами. Спас по плечи — большой на черном фоне. Ангел-хранитель аршинный».

Так же подробно поэт описывает и другие свои святыни. Вспоминает про «Явление Богородицы преподобному Сергию — икону семи вершков», с которой в руках умерла мать поэта. Не забывает о дорогих экспонатах своей библиотеки: «Книга Псалтырь с серебряными уголками — очень для меня дорога. Евангелие рукописное новгородское. Толковое Евангелие рукописное. Книга Поморские Ответы рукописная...»

Сейчас стала известна опись имущества Ключева, находившегося в Гранатном переулке на хранении в домоуправлении после ареста хозяина квартиры. По иронии судьбы она составлена и подписана неким комиссаром с многозначительной фамилией Аракчеев. Наряду с предметами бытового обихода в описи значатся 3 креста черного металла, дорожка церковная, 5 икон белого металла, 34 деревянных иконы, 24 старинных церковных книги и, как ни странно, пара лыковых лаптей.

Как видим, поэт не расставался со своими любимыми Спасами, Богородицами, Ангелами-хранителями, мудрыми отцовскими и дедовскими фолиантами ни дома, ни в Вытегре, ни в Петрограде — Ленинграде, ни в оказавшейся такой негостеприимной столице. Так что в общем становится не легендой, а явью пристрастие поэта к древней культовой живописи Русского Севера, его письменным памятникам, предметам народного обихода. Однако это естественное стремление человека к народному искусству, культуре, истории ничего не имеет общего с толками о быте поэта. Например, распускался слух, что в годы гражданской войны, когда Ключев на время уехал из Петрограда в Вытегру, он жил чуть ли не в боярской роскоши. Однако лучшее свидетельство подлинных пристрастий Ключева в те суровые годы — самодельные деревянные ковши, ложки, скамейки, стол, лапти.

Что же касается икон, то моя мать, неоднократно бывавшая вместе с моим отцом в ленинградской квартире Ключева (Большая Морская, 45, кв. 8), рассказывала, что действительно, их в маленькой комнатке, которую занимал Ключев во флигеле нынешнего Дома композиторов, было «ослепительное множество». О разлуке с творениями древнерусских умельцев Ключев горестно сетовал в сибирском изгнании. К сожалению, вся эта замечательная коллекция после ареста и ссылки постепенно была распродана семьей С. Клычкова, которой поэт доверил распорядиться своим имуществом,

деньги посылались в Томск бедствующему поэту. Все же одна подлинная икона, которой гордился Клюев и показал в своей квартире на Большой Морской моей матери, сохранилась. Она была подарена Ключевым, моим крестным отцом, родителям в связи с рождением первенца, пережила трудные предвоенные годы, блокаду и стала самой дорогой семейной реликвией. На обратной стороне черной тушью выведена дарственная надпись: «Крестнику моему Игорю Западалову благословение в день его крещения. Николай Клюев. 1927 г. апр. 4-го». Далее поясняется, что икона эта «поморского письма петровского времени из скитов Вытегорских, иже на реке Выг».

Вспоминая время, когда Клюев жил в Ленинграде, мать обращала внимание на самобытный, независимый характер «доли народной певца», на его, как бы мы сегодня сказали, нестандартный образ мыслей, далекие от официальных оценки литературной и общественной жизни второй половины 20-х годов. Однажды, когда мои родители были в гостях у Ключева, отец похвастался своему именитому наставнику, что во время приезда в город Маяковского и его выступления в филармонии ему удалось со своей Кэтти, так тогда звали маму сверстники, преодолеть цепь конной милиции у подъезда, более того, — представить маму Маяковскому и услышать от него весьма галантное: «Очень рад познакомиться!», сопровождаемое цопелуем руки и приглашением в зал.

Мама смущенно слушала эту похвальбу, однако Клюев все время как-то побряхтывал, покашливал в руку, а потом весьма обиженным тоном произнес: «Суета тебя, Борис Алексеевич, одолевает. Бесовское тщеславие. Люди грешные — иконы обдирают, золото и серебро, снятое с образов святых, на боны в торгсин идут менять. Храмы божие в места отхожие, как верно замечено, превращают. Ваш батюшка, настоятель Смоленского храма, протонерей Алексей мне жаловался наемдни: хулиганы так и лезут в церковь, грозя иконостас на дрова порубить или кресты с куполов свергнуть. Мозаику на могиле Куинджи с памятника выковыряли. Рерих созидал! А вы, как оголтелые телята, прости меня, Катя, через милицию пробиваетесь. А для чего? На крикуна-богборца поглазеть, который писал такие кощунственные строки о нашем Господе: «А с неба смотрела какая-то дрянь величественно как Лев Толстой» или пуше того, пакостней: «Я тебя, пропашего ладаном, раскрою отсюда и до Аляски».

Сев на скамейку с затейливой резьбой, о которой вспоминали и другие гости поэта, Николай Алексеевич помолчал,

потер гладкую короткую бородку и начал читать стихи, сначала медленно, словно припоминая строки, потом все более твердо, уверенно, однако не повышая своего мягкого, вкрадчивого, с северным «оканьем» голоса:

Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне журавлиный перелет и кот на лежанке.

Клюев читал нараспев, словно кого-то заговаривая, убаюкивая, завлекая в невидимый Китеж-град своих снов и мечтаний. «Олонецкий ведун», как и Маяковский, смотрел в будущее России, но судьба ее представлялась каждому из них по-своему:

Простой как мычание и облаком в штанах казинетовых
Не станет Россия — так вещает Изба.
От мереж осетровых и кетовых
Всплески рифм и стихов ворожба.

Затем встал, обтер высокий сократовский лоб цветастым платком, примирительно предложил: «Пойдем-ка лучше, Боренька, к Ивану Петровичу Силину, катиному благоверному отцу, чай кушать. Зело крепкий и медовый чай готовит умелица его милая супруга Пелагея Артамоновна».

Далее, если у меня не ослабевал интерес, мать вспоминала, как ее отец, Иван Петрович, тогда уже старик, инвалид, в любом служащий в доходном доме известного купца-миллионщика Г. Елисеева, и его партнер по чаепитию, «бог самоварный» Николай Алексеевич, степенно вели житейские и духовные разговоры. Житейские — о положении в деревне, об урожае, о ценах на рынке, о несправедливостях при раскулачивании крестьян, разорении села. Дед мой, это я помню и сам, доставал из сундука свернутые в рулон листы отпечатанных керенок и задумчиво смотрел на обесцененные ассигнации. Тут же сетовал на то, что у него в банке на Фонтанке пропало 4 тысячи рублей. «Золотом!» — подчеркивал он, горюя, что все, что он накопил своим горбом, своим трудом «синим пламенем горело». Клюев в лад вздыхал, видно, вспоминая родную избу в деревне Желвачево, где померли его родители, так и не вкусив «крестьянского рая». Несомненно в это время, мысленно видя сгоревшие дома в своей деревне, порушенные храмы, затоптанные могилы предков, получая от Ивана Петровича подтверждение своим думам о горькой «народной доле», поэт и создавал строки своих знаменитых поэм «Погорельщина» и «Разруха», ставших причиной его ареста и безвременной смерти.

Чай, как запомнилось мне, «дедушки» пили с домашними пирогами с начинкой из черники или капусты. Когда дед выпивал зеленого стекла пузатую рюмочку, наполнив ее из большого графина, внутри которого сидел на спице красный петух, а дед-крестный допивал с блюдечка пурпурный, подкрашенный вишневым вареньем чай, собеседники возвращались к беседе о судьбе земледельцев, отправленных для перевоспитания на Беломорканал, произносили с осторожностью и задушевностью новое и боязное слово «колхоз».

Если рядом сидели мои родители. Ключев нежно клал широкую тяжелую ладонь на колено отца и, то ли шутя, то ли серьезно, начинал напевать, как запомнилось и мне, что-то свое, продуманное, решенное, — то ли частушечное, то ли тут же им сочиненное. Мысль, чувство, устоявшиеся в ритмическом строе: «Мы — ржаные, толоконные, пестрядинные, запечные, вы — чугунные, бетонные, электрические, млечные...» Затем начинал смеяться тихо, словно про себя, потом все явственней и определенной: «Ничего, Боря и Катя, нам с Иваном Петровичем, видать, не дожить до воскрешения Китежграда, «избяного рая». Но помяните мои слова: цвести над Русью новой будут гречневые гении. Будут, увидите!»

Чтобы закончить тему о встречах Ключева в доме, где я родился, на Фонтанке, 64, кв. 14, хочу прояснить со слов матери, как и по своим детским наблюдениям, одну черту характера Ключева, которая, как и другие мифы, перекочевала из рапповских сочинений в исследования наших дней. Впрочем, и «меньшой брат» Сергей Есенин, и его приятель Анатолий Мариенгоф, и даже близко знавший Ключева Леонид Борисов, тоже, кстати, пивавший чай на Фонтанке, когда гостил Ключев, способствовали утверждению нелепого мнения. Все они в один голос свидетельствовали, что «певец олонецкой избы» — человек скрытный, замкнутый, необщительный, даже в чем-то с хитрецей, себе на уме; что он любит властвовать, подчинять себе слабые натуры.

Как наблюдали родители мои, все это — напраслина, нечестный навет. Ключев всегда умел слушать своего собеседника, будь он пожилой человек или юноша. Беседы и споры с дедушкой, отцом иногда продолжались несколько часов, а то и переходили на следующие вечера, и никогда не кончались ссорой. Ключев, как подметила мать, не терпел жаргона, ругательств, грубого слова, хотя не переносил эту неприязнь на личные взаимоотношения. Известно, что «милый матюжник» Есенин, автор «Облака в штанах» Маяковский, обильно и демонстративно эпатируя читателя, оснащали свою

речь площадной бранью, вульгаризмами, блатным жаргоном. Когда подобные стихи читали при Клюеве, он презрительно поджимал губы, осенял себя крестным знаменем, произнося нечто вроде известных строк: «Я гневаюсь на вас и горестно браню».

По-своему образованию, культуре, как бы мы сейчас сказали, интеллекту, он был несомненно богаче, выше многих своих литературных соратников, что, наверняка, и раздражало иных бесталанных, но самолюбивых критиков пролеткультуровской закваски и тех, кто верил их недобросовестным домыслам. «Он особенно был подчеркнута вежлив, корректен, предупредителен с пожилыми людьми, простолюдинами. С женщинами же всегда предупредителен и приветлив», — вспоминала мама. И наверно, из ревности, что ли, Леонид Борисов, наш общий друг, незадолго до смерти писал, что выступая в дружеской компании, Клюев не мог терпеть особ прекрасного пола. Ему, мол, всегда хотелось читать, когда не было дам или их было немного. «Одну он еще переносил, но если бы присутствовало не менее пяти, Николай Алексеевич наверняка ушел бы не попрощавшись».

«Это чушь! Чистая неправда! — восклицала мать, отложив книгу Борисова. — Леонид Ильич должен был бы хорошо помнить, как приветлив был Клюев с хозяйкой квартиры на Фонтанке Пелагеей Артамоновной, с ее еще наивными и простодушными дочерьми, Кэтти и Мэри. И вообще, ведь самым частым и любимым образом в поэзии Клюева была девица-краса, женщина-пряха, мать-Россия».

И правда, разве мог бы поэт, равнодушный, презирующий женщину, создать такие шедевры нашей лирики, как «Ты все келейнее и строже», «Любви начало было летом», как посвященные горячо любимой им матери Прасковье Дмитриевне «Избяные песни».

Для этого надо иметь большое, благородное сердце и высокий полет души. Пусть же этот очерк послужит тому, чтобы «белых пятен» в биографии Клюева становилось все меньше.

Игорь Запалалов



**Василий
Васильевич
КНЯЗЕВ**

1887—1937

Князев (Седых) Василий Васильевич, 1887 года рождения, уроженец г. Тюмени, русский, образование среднее, беспартийный; женат, писатель, гражданин СССР, проживал: Ленинград, ул. Рубинштейна, д. 15, кв. 301

Арестован 19 марта 1937 года по обвинению в проведении контрреволюционной агитации, ст. 58—10, ч. 1 УК РСФСР.

Осужден 14 июля 1937 года Спецколлекгией при Леноблсуде к пяти годам лишения свободы.

Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 16 декабря 1939 года приговор оставлен в силе.

Реабилитирован заключением помощника Главного прокурора Российской Федерации 30 июня 1992 года.

КАК ПОГИБ ВАСИЛИЙ КНЯЗЕВ

Дело № 42270

Василий Князев!. В дни революции и гражданской войны, в 20-е годы это имя гремело во всей Республике Советов. Песни и марши Князева звучали в рабочих клубах и красноармейских казармах. Он был одним из самых признанных и почитаемых поэтом молодой революционной России. Сотни

его боевых агиток, сатирических стихотворений, политических памфлетов и фельетонов, пафосных стихов печатались в «Красной газете», «Петроградской правде», «Северной Коммуне», во многих питерских журналах. Поэт-трибун яркого накала, он читал свои боевые стихи на массовых митингах, перед красногвардейскими частями, идущими в атаку. И сам выезжал на фронт — служить Республике пером-штыком.

Богатырь Коммуны», «наш красный Беранже», — такими эпитетами награждали Князева в десятках статей. Его выступления на митингах и вечерах были поистине триумфальными. 21 августа 1918 года «Правда» сообщает о состоявшемся накануне вечере: «Выступал любимый пролетарский поэт Василий Князев», а 13 августа 1919 года в «Правде» опубликована заметка о митинге в клубе «Модерн»: «Читал свои стихи В. Князев. Ему была оказана восторженная встреча». «Аплодисментами был встречен пролетарский русский Беранже Василий Князев («Красная газета», 23 октября 1918 года). РОСТА в заметке «Красный звонарь в Пскове» сообщает: «Прибыл литературный вагон редакции «Красный штык». Поэт Князев... был восторженно встречен красноармейцами и пролетариатом» (22 марта 1918 года).

И в псковской газете «Набат» появилась заметка: «В четверг, в 9 часов вечера, в Коммунальном театре состоялся концерт для рабочих и красноармейцев. Хор исполнил «Интернационал», а затем поэт Василий Князев читал свои стихотворения: «Песня Коммуны», «Сын коммунара», «Вперед» и «Песню Красного петуха». Аудитория очень сердечно встречала своего поэта... Думается, что устроители концерта не сделали бы бестактности, если бы познакомили предварительно рабочих и красноармейцев с личностью этого талантливейшего пролетарского поэта, в совершенстве владеющего как тайной стиха, так и темпераментом истинного революционера».

Лучшие сборники стихов В. Князева — «Красные звоны и песни» (1918), «Красное Евангелие» (1918), «Песни Красного звонаря» (1919), «О чем пел колокол» (1920) и другие — это поэтическая летопись Октября.

Князевская «Песня Коммуны», написанная в суровом 18-м, стала классикой советской революционной поэзии. В ее чеканных ритмах звучит непоколебимая вера в торжество революции, в бессмертие ее дела:

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда,

Рок капризный не властен над нами:
Никогда, никогда,
Никогда, никогда,
Коммунары не будут рабами!

Комсомолец 20-х годов, я и сегодня, спустя 60 с лишним лет, помню, как упоенно пели мы эту песню в праздничных колоннах Первомая и Октября.

Не следует, конечно, наводить на Князева хрестоматийный глянec. Он не был ни ангелом, ни дьяволом революции: он был сыном своей суровой эпохи с ее яростной экстремой и классовой одержимостью. Его стихи в «Красной газете», в журналах «Гильотина», «Пламя», «Красный дьявол» звали к мести, к беспощадному массовому террору: «Пуля в висок и тело в песок!» В ответ на убийство 30 августа 1918 года председателя Петроградской Чрезвычайной Комиссии М. С. Урицкого Князев публикует 1 сентября в «Красной газете» стихотворение «Око за око, кровь за кровь», содержащее требования: «к стене богатеев и бар!», «довольно миндальничать с ними, пора обескровить врага», «наступила беспощадных расстрелов пора», «друзья, не жалеите ударов, копите заложников рать...»

Свою максималистскую ненависть к врагам нового мира Князев распространял на всю культуру прошлого. «Время пулям по стенкам музеев тенькать», — звал Маяковский. И, как бы вторя ему, Князев восклицает: «Будь ты проклята, культура буржуазных пауков!»

При всех противоречиях и ошибках яркая пафосно-героическая поэзия В. В. Князева была и остается интересной страницей в истории нашей молодой литературы.

Имя Василия Князева — одного из зачинателей советской поэзии, вдохновенного богатыря Коммуны — исчезло из литературы (и из жизни) в середине 30-х годов. Он успел издать в 1934 году первый том задуманного им эпического романа «Деды» — и на двадцать с лишним лет был предан забвению.

Что же произошло с поэтом? Ответ на этот вопрос надо искать еще в событиях первых лет революции.

В 1919 году в Петрограде вышла «Первая книга стихов» Князева, включавшая его произведения дореволюционной поры. Среди откликов на эту книгу — и положительных, и сдержанных, и недоброжелательных — появилась на страницах «Петроградской правды» (22 июля 1920 года) запальчивая рецензия «В плену у злобы дня». Автором ее был мо-

лодой в те годы К. Федин. Статья пестрит резкими эпитетами: «прыткий стихотворец», владеющий «бойким пером газетный поэт», «заполняющий рифмами «вперед» — «народ» подвалы марксистских газет», «докучливый автор», пишущий «пошлые, пустые стишки и куплеты»...

В защиту Князева, ограждая его от субъективистских нападок, выступил в «Красной газете» Г. Зиновьев (он был тогда Председателем Петросовета). Дорого — ох, как дорого! — стоило Князеву его заступничество. 1 декабря 1934 года был злодейски убит С. М. Киров. Это была расчетливо задуманная провокация, послужившая сигналом к разнузданному террору. 16 декабря того же года Зиновьев был арестован, в августе 1936 года состоялся процесс по делу так называемого «троцкистско-зиновьевского террористического центра». На Ленинград одна за другой обрушились массовые репрессии: сотни тысяч людей были высланы из города, отданы под суд «двоек», «троек», ОСО... В этом потоке народного горя затерялся след Василия Князева.

Доброе имя Красного Звонара было реабилитировано после XX съезда КПСС. Но еще долгие годы его судьба была уделом неизвестности. Где погиб, когда погиб, как погиб? — эти вопросы оставались до недавних пор безответными. Тщетно обращался я в начале 60-х годов в Ленинградское отделение СП и Литфонд. Посетил и последнюю квартиру Князева по ул. Рубинштейна, с которой его «взяли». Увы, никто из соседей о судьбе поэта ничего не знал. Даже младшая сестра Василия Князева (она жила в Тюмени, умерла в конце 60-х годов) об участии брата, его жены и сына ничего сообщить не смогла.

Предположительно указывали место и время гибели Князева справочные источники (даже через десять лет после его реабилитации). Так, «Краткая литературная энциклопедия» (т. 3, стр. 616, 1966 г.) называет год смерти 1937-й, но добавляет: «по др. данным — март 1938, Колыма» (кстати, именно эта дата смерти указана на мемориальной доске в Тюмени на доме, где в 1887 году родился В. В. Князев). Однозначно, без вариантов, называет год смерти поэта биографический указатель «Писатели Ленинграда» (Лениздат, 1964, стр. 14): «В. В. Князев умер в марте 1938 года». И краткая литературная энциклопедия, и справочники бесстрастно констатируют кончину Князева, словно он задумал сменить климат, переехал из Ленинграда на Колыму — вдруг умер! Ни слова о репрессиях, об убийстве: ведь на смену короткой «хрущевской оттепели» второй половины 50-х годов

пришли затянувшиеся заморозки и морозы 60—70-х, когда исподволь вместо реабилитации жертв произвола наметилась реабилитация Сталина и его подручных.

В августе 1989 года я получил возможность с помощью Информационного центра МВД познакомиться с «делом» заключенного Князева, хранящемся в Управлении внутренних дел Магаданской области... Пожелтевшее от времени (прошло более полувека) «Личное дело № 42270» с грифом «Сов. секретно» Управления Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД. Обратите внимание на номер — свыше 40 тысяч! И это лишь по одному из многих управлений НКВД — широко разветвленной системы ГУЛАГа, и это еще только 1937 год, когда безжалостный конвейер уничтожения «врагов народа» начинал лишь набирать обороты! Зловещее «дело» Князева дает возможность понять страшную участь не одного лишь замученного поэта: так фабриковались миллионы «дел» против людей, оказавшихся во власти преступной клики убийц и палачей.

К «делу» В. Князева приобщены десятки документов, по которым можно проследить за тем, как шаг за шагом толкали на гибель талантливого певца Революции. Знакомство с делом убеждает в том, что кончина Князева — не обычная смерть, а убийство, — обдуманное, злодейски спланированное, дьявольски осуществленное.

...Всю ночь с 19 на 20 марта 1937 года у Князева (Ленинград, ул. Рубинштейна, № 15/17, кв. 31) шел обыск. Изъяты книги, бумаги, письма, рукописи, черновики... Квартира опечатана. «Преступник» заключен в 36-ю камеру IV отделения тюрьмы № 2.

Машина уничтожения включена: 24 июня 1937 года спецколлегия при Ленинградском областном суде («тройка»: председатель Корольков, члены Петров и Чехов) в закрытом судебном заседании рассматривает дело № 10583/23230 (и снова пятизначные цифры! — Л. П.) «по обвинению Князева Василия Васильевича, 1887 года, г. Тюмень Томбовской губ. («Откуда, мол, и что это за географические новости?» — спросил бы Маяковский. Видимо, ученые мужи из ведомства Берии и Вышинского образовали гибрид Тамбовской и Тобольской губерний — Л. П.), сына купца, литератор, б. чл. ВКП(б) в преступлении по ст. 58—10 ч. I УК».

«Материалом предварительного и судебного следствия, — сказано в приговоре, — виновность Князева В. В. доказана в том, что он, будучи враждебно настроен к Советской вла-

сти, в ноябре месяце 1936 года в помещени клуба писателей им. Маяковского вел контрреволюционные разговоры в присутствии свидетеля Л. (я не считаю себя в праве полностью назвать фамилию человека, доносившего на Князева, мы знаем, какими средствами нередко вырывали «свидетельства» в те недоброй памяти годы — Л. П.) и др., грубо, оскорбительно отзывался о руководителях партии и правительства, выступал в защиту репрессированных членов троцкистско-зиновьевской группы, клеветал на положение советских писателей, на советский строй и ВКП(б), т. е. Князев В. В. совершил пр. пр. ст. 58—10 УК (контр.-революционная анти-советская агитация — Л. П.).

Спецколлегия приговорила Князева В. В. по ст. 58—10 ч. I УК лишить свободы на 5 лет с 19 марта 1937 года с последующим поражением в правах сроком на 3 года».

...В «деле» Князева хранятся выцветшие от времени записки, сделанные им на клочках бумаги черным карандашом в камере предварительного заключения и в пересыльной тюрьме («Невозможно писать, невозможно сосредоточиться в камере, где 200 человек», — жалуется он). Сколько в этих записках муки человеческой! Его терзают мысли о судьбе семьи: тяжело больной, выброшенной из квартиры 50-летней жены Евдокии Петровны, сына Василия. «Умоляю, — взывает он к начальнику корпуса, — в срочном порядке узнать о здоровье и местопребывании жены... У меня есть основания думать, что она с сыном либо выселена, либо умерла». Ответа он не получил, так и погиб, не ведая об участи дорогих его сердцу людей. Можно не сомневаться в том, что они разделили горестную долю сотен тысяч так называемых ЧСИР — членов семей изменников родины.

В заявлении на имя уполномоченного НКВД при пересыльной тюрьме «з/к № 13813 Князев В. В.» решительно отрицает свою вину: «Я не контрреволюционер, никогда им не был и не буду, так как органически не способен идти против власти рабочих», «я работал в «Правде» в 12—13 гг. Был насмерть травим всей буржуазной печатью. С Володарским и другими создал «Красную газету», работал красногвардейцем в Петрограде и уездах во дни кулацких мятежей, Юденича, Кронштадта и пр. и пр.», «мои стихи нравились Ильичу (как сообщает Н. К. Крупская в своих воспоминаниях)... Думаю, что теперь и завтра я был бы полезен Союзу». Потрясает единственная просьба заключенного: «Нельзя ли оставить меня в Ленинграде, хоть в тюрьме, хоть в одиночке?.. У меня большое сердце, одышка, неважный

желудок и др. Я боюсь, что лагерь меня убьет (эти слова, оказавшиеся пророческими, подчеркнуты Князевым — Л. П.):... Дайте мне остаток моей жизни (5 лет, не больше) писать знойные, обжигающие душу песни. Я докажу, что я не только не враг народа, но предан Октябрьской революции до последнего издыхания!»

Есть, наконец, в этой записке Князева уполномоченному НКВД фраза, которая, на мой взгляд, объясняет, почему так безжалостно и спешно вершили над ним расправу: он сообщает, что перед арестом «работал над романом о смерти тов. Кирова».

В Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинском доме) АН СССР, где хранится изъятый при обыске архив В. Князева (фонд № 584), я пересмотрел сотни страниц черновых набросков, рукописей — и ни единой строчки, относящейся к роману о С. М. Кирове, не обнаружил. Нет никаких сомнений в том, что эти материалы были уничтожены в НКВД.

...Долгим был путь заключенного Князева в «стольпинском» вагоне через всю страну, мимо родной Тюмени, от берегов Невы до Владивостока, а оттуда в октябре 1937 года в трюме парохода («Кулу», рейс № 7) дней десять до Магадана. А вслед за опасным государственным преступником несется грозное предписание: «Спецуказание. Сов. секретно. УНКВД по Дальстрою. При этом следует в ваше распоряжение со спецконвоем з/к Князев Василий Васильевич, состоящий на учете как троцкист, осужденный спецколлективом на 5 лет.

Указанный заключенный должен быть использован исключительно на общих физических работах и ни в коем случае ни в какие другие подразделения без специального наряда УРО переведен быть не может (Подчеркнуто в тексте — Л. П.).

...Содержать в условиях, предусмотренных общелагерным режимом, совместно с находящимися заключенными троцкистами.

Под вашу личную ответственность принять все необходимые меры предупредительного характера, исключаящие возможность побега».

Это был по существу неприкрытый приказ: добить тяжело больного человека, тем более, что в личном деле заключенного Князева есть запись «инвалид».

В работе «О Сталине и сталинизме» («Знамя», 1989, № 3), основанной на документах и воспоминаниях чудом уцелевших узников сталинско-бериевских лагерей, Рой Медведев

пишет: «В сущности режим большинства колымских и других северных лагерей был сознательно рассчитан на уничтожение заключенных. Сталин и его окружение не хотели, чтобы репрессированные возвращались, они должны были исчезнуть». И исчезали. . .

Одним из немногих, выживших на этом чудовищном конвейере смерти был Варлам Шаламов, автор потрясающих своей жестокой правдой «Колымских рассказов». В «Письме старому другу» («Огонек», 1989, № 19) Шаламов пишет: «Мы знаем сталинское время, видели лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей».

В этот сталинский Освенцим был брошен Василий Князев. Чтобы ускорить смерть поэта, его погнали по этапу в глубь Колымы — в отдаленный лагерный пункт Мальдяк, за 700 километров северней Магадана. В горькой народной частушке поется:

Колыма, Колыма,
Веселая планета:
Двенадцать месяцев зима,
Остальное — лето.

На этой «веселой планете» в октябре—ноябре царят лютые морозы, бушуют яростные метели. Изможденный, голодный, насквозь продрогший Князев не выдержал этапных пыток. . .

«Личное дело № 42270» завершается актом, гласящим:

«Следуя по этапу из Магаданского пересыльного пункта в ОЛП Мальдяк, з/к Князев Василий Васильевич, № 135075, ст. 58—10, ч. I, срок 5 лет, во время пути следования этапом оставлен в поселке Атка 4.XI.37 г., 10.XI.37 г. скончался в 20 ч. 15 м. Диагноз: порок сердца, декомпенсация III, атеросклероз, обострение ревматизма».

И заключительный документ:

«В/секретно. Начальнику УСВИТЛ НКВД.

При этом высылается акт о смерти и дактилоскопический отпечаток пальца на умершего з/к Князева В. В.

Князев В. В. с партией з/к следовал в ОЛП УГПС и по болезни оставлен в пос. Атка, где и умер».

. . . Где-то в далекой Атке, что в 206 километрах от Магадана (это расстояние называет в одном из «Колымских рассказов» В. Шаламов), в стылой колымской земле погребено тело замученного поэта. Князев все же обманул своих палачей и их слуг: он совершил побег — из пяти лет не прожил в неволе и года.

Мы не знаем, где эта могила: в наспах вырытой в промерзшей земле траншее похоронен вместе с сотнями таких же жертв сталинских репрессий.

И все же памятник Василию Васильевичу Князеву существует: это не «бронзы многопудье», не «мраморная слизь», а боевые песни и стихи, бережно хранимые народом, если верить афоризму «рукописи не горят». Увы, горят не только рукописи, но и те, кто их написал. Сколько мог еще создать Василий Князев! Остались незаконченными монументальный роман «Деды», многотомная «Пословичная энциклопедия» и другие книги. Ему было только 50 лет. . .

Имя и творчество Князева — в том же скорбном мартирологе наших утрат, где значатся имена таких выдающихся поэтов, как Павел Васильев и Борис Корнилов, Сергей Клычков и Николай Клюев, Михаил Герасимов и Владимир Кириллов, Осип Мандельштам и Даниил Хармс, Лев Квитко, Тициан Табидзе, Егише Чаренц и многие, многие другие. По неполным данным Всесоюзной комиссии по литературному наследию репрессированных членов Союза писателей СССР, было репрессировано около 2000 членов Союза (замечу, что на фронтах Великой Отечественной погибло примерно 1000 писателей.)

Полна трагизма судьба Василия Князева — человека, казненного сталинизмом, оставшегося навеки в бездонных топях Колымы.

Светла судьба Князева-поэта, певца Октября, стихи которого вошли в духовный мир народа. К творчеству Богатыря Коммуны обращались даже в те годы, когда имя его было под запретом.

21 августа 1941 года, когда над Питером нависла смертельная опасность, в «Ленинградской правде» было опубликовано стихотворение Вс. Азарова «Мы не будем фашизма рабами», в котором поэт, не называя запрещенного автора, сообщает в эпиграфе: «Эти стихи написаны на мотив песни, которую пели в красном Петрограде в 1919 году». Как рефрен, звучат чуть измененные хрестоматийные князевские строки:

Нас не сломит орда,
Не согнет нас беда,
Рок капризный не властен над нами.
Никогда, никогда,
Никогда, никогда
Мы не будем фашизма рабами!

Лазарь Полонский



**Сергей
Адамович
КОЛБАСЬЕВ**

1898—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28 — 517
Ленинград

Колбасьев Сергей Адамович, 16 марта 1898 года рождения, уроженец Одессы, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, член СП, проживал: Ленинград, Моховая ул., д. 18, кв. 6

жена — Малкова Нина Николаевна, 1915 года рождения, учащаяся Института иностранных языков
дочь — Колбасьева Галина Сергеевна, 1923 года рождения (В 1956 году Колбасьева Г. С. проживала: Ленинград, Лахтинская ул., д. 14, кв. 25).

Арестован 8 апреля 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—1а (измена Родине), 58—10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением Особой Тройки УНКВД ЛО от 25 октября 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 30 октября 1937 года в Ленинграде.

Определением Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 2 июля 1956 года постановление Особой Тройки УНКВД ЛО от 25 октября 1937 года в отношении Колбасьева С. А. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Колбасьев С. А. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Колбасьев (печатался также под псевдонимом Ариэль Брайс, А. Брайс) Сергей Адамович (17.III.1898, Петербург — 30.X.1937), прозаик. Учился в гимназии и в морском кадетском корпусе (1915—1918). В 1918—1922 годах служил в Астраханско-Каспийской военной флотилии и на Балтике; в Азовской военной флотилии командовал дивизионом канонерских лодок, работал в штабе Черноморского флота, был командиром дивизиона минных заградителей и сторожевых катеров, в 1921 году на Балтике был командиром тральщика «Клязьма». В 1922 году по ходатайству А. В. Луначарского был уволен из флота и направлен в издательство «Всемирная литература». Владел немецким, английским, французским, шведским языками и языком фарси. В 1922 году работал переводчиком в Кабуле, с конца 1923 — в Гельсингфорсе (Хельсинки). В 1926 году возвратился в Ленинград и занялся литературной работой. Отрывок «Бой» из сценария «Миноносец «Бауман» напечатан в газете «Литературный Ленинград» (1937, 24 февраля, в соавторстве с Н. Коварским). См. его интервью «Четвертая повесть» («Литературный Ленинград», 1936, 26 августа).

Открытое море: «Петербургская поэма. Пг., 1922; Поворот все вдруг: Рассказы, Л., 1930 и др. изд.; Салажонок. М., 1931 и др. изд.; Хороший командующий: Рассказ. М., 1932; Крен: Рассказ. М., 1935; Военно-морские повести. М., 1936; Повести и рассказы. Л., 1958 и 1970; Поворот все вдруг: Повесть. Рассказы. Л., 1978.

НИКОГДА!

Из письма Николая Тихонова Льву Лунцу. Петроград. Октябрь 1923 года.

«...Сергей Колбасьев делал прогулку по Афганистану. Растволстел как кабульский бор, — поздоровел, привез

1001 рассказ, афганские подтяжки, брюки, анекдоты. В общем, богатый человек и уже уехал снова: в Гельсингфорс на один год. Жди от него письма. Верочка — слушай, Лева, — вероятно, на днях подарит ему маленького афганца, ребенка, который еще до появления на свет, без визы проехал в Азию, обратно, в Финляндию и т. д. Чудо конструктивизма...»

Сергей Адамович Колбасьев — мой отец. Верочка — его жена и моя мать Вера Петровна Колбасьева. «Маленьким афганцем» оказалась я, появившаяся на свет в ноябре 1923 года.

Когда Николай Семенович писал: «Колбасьев делал прогулку по Афганистану», — он имел в виду очень недолгое пребывание моего отца в этой стране. Случилось так, что тот не нашел общего языка со своим непосредственным начальником Ф. Ф. Раскольниковыми и спустя два месяца вынужден был покинуть Кабул и возвратиться в Россию. Вскоре его направили переводчиком в советское торгпредство в Финляндию. Там он проработал четыре года.

Итак, я родилась в Гельсингфорсе в ноябре 1923 года. Грудным ребенком была необыкновенно криклива. Особенно по ночам. И бедные мои родители по очереди носили меня на руках и вместо обычных в таких случаях колыбельных песен читали стихи. Почему-то наилучшего эффекта они достигали, читая гекзаметр: «Он перед грудью поставил свой щит велеlepный дивно украшенный...» — и я засыпала.

Тогда в нашем доме постоянно звучали стихи. И отец и мама знали их великое множество — у обоих была прекрасная память. И ничего нет удивительного в том, что однажды, — было мне тогда года три-четыре, — я разразилась белыми стихами:

Отчего ветер так жутко воет?
Отчего море не блещит?
Отчего никого не видно
И никто не едет в Америку?

Впрочем, на этом мое поэтическое творчество и закончилось. Естественно, мои воспоминания о жизни в Финляндии смутны и отрывочны. Запомнилось только то, что могло поразить мое детское воображение. Например, шикарный кондитерский магазин, разнообразие конфет в обертках, настолько соблазнительных, что я, попав однажды в этот конфетный рай, немедленно стала угощаться, благо конфеты были не на витринах, а в открытых ящиках. Милой продавщице стоило большого труда успокоить моих родителей, потрясенных бес-

церемонностью чада. А однажды я устроила родителям неприличную сцену, пожелав стать обладательницей белых бот, увиденных в витрине магазина. Увы, их не купили, именно потому, что я их требовала. Отец никогда не потакал моим капризам. Еще один случай запомнился очень ярко. Случай страшный — я потерялась. В чужой стране! По-видимому, был выходной день. Родители с друзьями и их семьями поехали отдыхать за город. Расположились на пляже. А чуть повыше, за кустами в тени, устроились наши бабушки. Я бегала от родителей к бабушке и обратно. И вдруг заблудилась и оказалась в обществе финской девочки и ее папы. Они лопотали что-то непонятное, а я от страха громко редела. Меня куда-то отвели, чем-то угощали, но я была охвачена ужасом от того, что не понимала людей, утешавших меня, а опомнилась только к вечеру, когда вдруг возникли ниоткуда мои папа и плачущая мама и отвезли домой.

Как я уже говорила, отец работал в полпредстве переводчиком. Еще восьми-девятилетним мальчиком его стали обучать иностранным языкам, причем одновременно английскому, немецкому и французскому, которыми он владел в совершенстве. Его мать — Эмилия Петровна, урожденная Каруана, была итальянкой и передала сыну знание итальянского. Кроме того, он впоследствии самостоятельно изучал шведский и фарси.

Когда в феврале 1922 года отец был увелен в запас, он, бывший флотский командир, оказался в крайне затруднительном материальном положении, работал в издательстве «Всемирная литература», делал переводы, писал стихи. Изредка их печатали в литературных альманахах. Отдельной книжкой вышла его поэма «Открытое море». Но все это едва позволяло сводить концы с концами. К тому же он вскоре женился. Знание иностранных языков дало возможность отцу устроиться на работу за границу (не без помощи брата Ларисы Рейснер) и обеспечить молодой семье сносное существование.

В Финляндии отец увлекался джазовой музыкой, привез оттуда десятка полтора пластинок, положивших начало его будущей коллекции, о которой впоследствии ходили легенды. Так, например, Илья Рахтанов в своих воспоминаниях утверждал, что эта коллекция составляла 10000 пластинок, хотя на самом деле их было не более двухсот. Помимо пластинок отец привез каталоги фирм, производящих записи. Руководствуясь этими каталогами, он пополнял свою коллекцию.

В мае 1928 года отец закончил службу в Финляндии и мы возвратились в Ленинград. Тогда же мои родители разошлись. Мама вернулась к своим родителям, а отец получил две комнаты на Моховой улице. Брак родителей официально расторгнут не был и, сколько помню, они всегда оставались добрыми друзьями. По взаимному согласию родители решили, что мне будет лучше жить в семье отца (мама поступила на службу и мало находилась дома), а выходные дни я проводила у мамы. Иногда мы их проводили все вместе, выезжая куда-нибудь с компанией друзей.

Затрудняюсь сказать, каков был первоначальный метраж нашей площади в коммунальной квартире на Моховой. Мы с бабушкой жили в пятнадцатиметровой комнате, а комната отца представляла собой громадный проходной зал — более сорока квадратных метров. Здесь были одновременно наша столовая и папины кабинет и спальня, тут мы принимали друзей и устраивали семейные торжества. Вдоль стены стоял великолепный макет «Джунгли», подаренный мне на день рождения. Папа сделал его вместе с художником Николаем Радловым. В «джунглях» были тропические деревья, лианы и множество всякого зверья из киплинского «Маугли». Папа подолгу играл со мной в этих «джунглях» и было впечатление, что при этом он получал не меньшее удовольствие, чем я.

Мне было четыре с половиной года, когда мы возвратились в Ленинград. На следующий же день папа повел меня знакомиться с городом. Первая прогулка была вдоль Невы и в Летний сад. То, что я увидела, навсегда врезалось в память. Нева потрясла. А в Летнем саду мы направились к Крылову. Показывая памятник, папа читал басни и незаметно вокруг нас собралась целая толпа ребятишек.

Возможно, это самое первое впечатление заложило во мне неистребимую любовь к нашему прекрасному городу, которую я пронесла через всю жизнь. Я отказалась покинуть Ленинград во время войны, когда началась эвакуация, перенесла все тяготы блокады, чудом осталась жива, и неизменно скучала по нему, уезжая в командировки или в отпуск в другие города.

Приближался мой день рождения. Тот самый, когда мне подарили «Джунгли». Мама как-то сказала: «Скоро тебе стукнет пять лет». Я никак не могла понять и всех спрашивала, как это так «стукнет». И вот однажды, возвратившись с прогулки, едва переступив порог, я услышала мерные удары (по-видимому, в таз). С каждым ударом папа поднимал руку

и отсчитывал: «Раз, два, три, четыре, пять! Вот тебе и стукнуло пять лет!» Он был неистощим на разные выдумки.

Как ценнейшую реликвию храню я маленькую детгизовскую книжку «Крен» с дарственной надписью: «Моей собственной дочери Галине Сергеевне. Дружественный автор. 12.V.35». Другая реликвия — письмо, присланное из очередного плавания. Оно не датировано и я предполагаю, что это был 1931 год. Вот оно:

«Милая моя дочь Галина Сергеевна!

Я очень по тебе соскучился, но теперь скоро с тобой увижусь. Я приеду около 14 июля.

Расскажу тебе очень много интересного. Про то, как мы в открытом море ловили рыбу и про медвежонка, который плавает на одном из наших миноносцев.

Большое спасибо тебе за твое милое письмо, которое ты прислала мне с дачи. Козленка и все прочие прелести ты мне покажешь, правда?

Видишь, я стараюсь писать буквы «т» и «д» так, как ты привыкла, а ты за это мое старание пиши мне письма. Мне очень приятно их от тебя получать.

Почему-то мне кажется, что ты совсем перестала жмакать и стала послушной душечкой. Наверное, эта так.

Ну пока бононоте, поцеловать и тронуть.

Папа».

Придется объяснить, что «жмакать» — папино изобретение, означавшее плохо есть. Бононоте — русская транскрипция итальянского «спокойной ночи». «Бононоте, поцеловать и тронуть» — так мы обычно расставались на ночь.

Несколько лет подряд отец отправлял нас на писательскую дачу в Александровскую. Мы там отдыхали вместе с семьями других писателей. Один год, вероятно, последний, с нами жили Марина Николаевна Чуковская с дочерью Татой, моей ровесницей, и трехлетним Коленькой, а также красавица Зоя Александровна Никитина с сыновьями Вовой, Борей и грудным Мишенькой. Теперь Мишенька — известный артист Михаил Козаков.

Однажды отец привез мне модель яхты, которую сам построил. В длину она была около шестидесяти пяти сантиметров и являлась точной копией настоящей яхты: можно было поднимать и спускать паруса, заглядывать в дверь изящной каюты, на ходу была легкой и послушной — мы пускали ее в Финском заливе.

Строить модели кораблей отец начал лет с десяти, построил настоящий флот. У него были модели подводных ло-

док и катеров, миноносцев и линейных кораблей. Все были выполнены самым тщательным образом: на них были шлюпки, вращающиеся орудия, даже крошечные якоря, а материалом для такелажа служили тонкие волосы. Длина самой большой модели, линкора, не превышала восемнадцати сантиметров. И весь этот флот и моя яхта погибли во время бомбежки в 1942 году, в суровую зимнюю блокаду.

Когда мне было семь лет, отец отправил меня в так называемую дошкольную группу, а попросту — к частной учительнице, которая вела занятия с детьми по программе первого—второго классов. Одновременно приходила учительница английского языка. А через два года отец определил меня в третий класс английской школы. Здесь учились дети англичан и американцев, волей судьбы оказавшихся в Ленинграде. Интересная была эта школа — в классах по семь-восемь учеников, все предметы велись на английском языке, русский изучали как иностранный. Очутившись в такой обстановке, я на первых уроках с ужасом убедилась, что ничегошеньки не понимаю из того, что говорится в классе. Но не прошло и трех-четырех месяцев, как я полностью освоилась и болтала по-английски не хуже своих школьных товарищей.

Жизнь текла своим чередом. Возвращаясь из школы, я гуляла, потом делала уроки. Папа в это время занимался своими делами, о которых имею смутное представление. Бабушка вела домашнее хозяйство. А к вечеру обязательно кто-нибудь приходил, и не один, а человека три-четыре, иногда и больше. Не помню дня, чтобы у нас никого не было. Кто только не перебивал в нашем доме на Моховой! Писатели — Николай Тихонов, Корней и Николай Чуковские, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Борис Лавренев... всех и не вспомнить. Приходили радиолюбители, знатоки и поклонники джаза, художники, композиторы, артисты... Засиживались допоздна, когда отец демонстрировал гостям свои новые пластинки или записи джазовой музыки.

Отец сам собрал проигрыватель для пластинок, как, впрочем, и радиоприемник. От своей аппаратуры он добился чистейшего звучания, не идущего ни в какое сравнение с бытовыми звуковоспроизводящими устройствами тех времен.

Радиоприемник принимал зарубежные станции, которые часто передавали хороший джаз. И тогда у отца возникла идея сделать звукозаписывающее устройство. Эту идею он вскоре осуществил вместе с изобретателем Вадимом Охотниковым. Не вдаваясь в подробности описания аппарата, скажу

только, что запись производилась на кинопленку, склеенную в кольца. Этот же аппарат и воспроизводил только что сделанную запись с помощью обычного звукоснимателя с иглой. Ничего общего с магнитофоном это устройство не имело.

Последним достижением отца в области радиотехники было устройство для приема изображения. В нем не было даже отдаленного сходства с телевизором. Большой, около 50 сантиметров в диаметре, металлический перфорированный диск, в верхней части которого при вращении возникало на розовом фоне изображение величиной со спичечный коробок.

Мир увлечений отца был необычайно разнообразен. Помимо неизменной страсти к радио и джазу, он увлекался фотографией, авиамоделизмом и даже изготовлением различных игрушек, в том числе елочных, которых в те годы в продаже почти не было. Он прекрасно знал мировую литературу, живопись, музыку, Все, кто с ним встречался, находили в нем интереснейшего собеседника.

Я обычно ложилась спать в девять часов вечера, но еще долго из соседней комнаты мне были слышны приглушенные голоса, смех и звуки музыки.

После того как расходились гости, когда уже никто и ничто не могло отвлечь отца, он садился за рабочий стол и писал. Он работал всю ночь и ложился спать часов в семь утра. Вставал поздно, не раньше двух часов дня.

Не имея машинки, он писал от руки, четким почерком, почти без помарок. Черновиками не пользовался, писал на аккуратно нарезанных листках размером в одну четверть стандартной страницы. Если требовались какие-то исправления или изменения текста, попросту заменял забракованный листок на другой. Таким образом, у него отпадала необходимость заново переписывать большие куски рукописи.

В 1922—1924 годах на страницах журналов появились четыре его ранних рассказа и очерк об Азовской военной флотилии. Однако начало активной литературной деятельности отца следует отнести к моменту его возвращения из заграницы. Недолгий девятилетний период его творчества оказался очень плодотворным. Современному читателю известно далеко не все, что было им написано в те годы.

Однако путь его, как я выяснила впоследствии, был далеко не безоблачным. Его любили читатели, повесть «Салажонок» выдержала семь изданий, книга «Поворот все вдруг» — пять. И тем не менее, именно эта книга после первого же издания в 1931 году подверглась яростной критике. Шквальным огнем обрушились на нее Л. Соболев, Вс. Виш-

невский, С. Варшавский, Н. Свирин, обвиняя автора в том, что он искажает историческую действительность, не дает представления о революции, не приводит правильных, полезных сведений о флоте, море, корабле, что в книге отсутствует революционная масса, что автора цепко держат в своих объятиях буржуазные представления и далее в том же духе.

Нелегко писателю перенести подобные обвинения. И вот что странно: я никогда не видела отца чем-либо расстроенным и даже не подозревала, что у него могли быть крупные неприятности. Критические статьи, обнаруженные мною спустя почти сорок лет, явились для меня ошеломляющим открытием.

Мне всегда казалось, что в нашем доме царил полное благополучие — никаких конфликтов, никаких неприятностей и горестей. Теперь знаю, что они были. Но с каким умением оберегали меня от них! Только несколько лет назад я узнала, что до 1937 года отца дважды арестовывали, но вскоре освобождали. Мне же тогда говорили, что отец ушел в очередное плавание или уехал в Москву, и я верила.

Последний, третий раз отца арестовали в ночь с 10 на 11 апреля 1937 года. Только тогда, каким-то шестым чувством я поняла, что случилась непоправимая беда, и бабушка вынуждена была это подтвердить.

Отец, зная свою полную невиновность, считал, видимо, что это очередная ошибка и что он скоро вернется: он ушел, не простившись со мной. Так и ушел... Навсегда... Реабилитировали его в 1956 году посмертно.

В ту же ночь конфисковали папину коллекцию пластинок. Упаковали их в два чемодана. Один чемодан никак не закрывался. Не долго думая, ревностный исполнитель закона надавил на крышку коленом, раздался хруст и чемодан закрылся. Пластинки унесли. Больше не взяли ничего. Комнату отца опечатали значительно позже.

Через некоторое время бабушке и тогдашней жене отца предписали покинуть Ленинград. Меня же сразу после папиного ареста взяла к себе мама.

Я уже говорила о том, что официального развода у родителей не было. Мама оставалась законной женой отца. Однако после того как они разошлись, у отца периодически появлялись подруги, которые жили в нашем доме на правах его жен. Больше всех запомнилась Вера Азова, жившая у нас года четыре, и последняя — Нина Николаевна Малкова. Тот факт, что Нина Николаевна не была официальной же-

ной отца и прожила с ним немногим более года, не повлияя на решение о ее высылке.

Не знаю, каким чудом бабушке удалось остаться в Ленинграде, но Нина Николаевна была выслана в Ярославль. Уезжая, она увезла с собой большую часть архива отца: рукописи, документы, фотографии.

О том, что этот архив находился в Ярославле, я узнала случайно от папиного друга Александра Гофмана. Он жил в Воскресенске и разыскал меня в 1978 году. Он все собирался в Ярославль, но Нина Николаевна болела и вскоре умерла. А летом 1979 года умер и Гофман.

Долго рассказывать о том, как я несколько лет подряд искала возможность вернуть папин архив в Ленинград. Дочь Нины Николаевны, Ирина Павловна Филимонова, мне наотрез отказала, мотивируя тем, что документы эти — «прежде всего память о ее матери». Только в 1981 году мне наконец встретился человек, принявший самое горячее участие в судьбе папиного архива. Им оказался ленинградский писатель Кирилл Павлович Голованов. Бесконечно ему благодарна! Он немедленно поехал в Ярославль и уговорил Ирину Филимонову продать имеющиеся у нее документы Колбасьева Ленинградскому государственному архиву литературы и искусства. Из Ярославля Кирилл Павлович вернулся с бесценными материалами, которые теперь хранятся в ЛГАЛИ.

Воистину пути господни неисповедимы. В 1971 году судьба свела меня с Ириной Вениаминовной Алексеевой, дочерью человека, который тоже был репрессирован, и, как выяснилось, несколько дней провел с моим отцом в одной камере. Я послала ему папину книгу и в ответ получила большое и прекрасное письмо, в котором подробно рассказывалось об этой встрече.

Выдержкой из этого письма я и закончу свое повествование.

«...Ваш отец очень сокрушался, что не может передать родным главное — о своей полной невиновности перед Советской властью, перед Россией. Это самое сокровенное желание он высказывал с такой болью, которая была мне родна.

Я пробыл в камере с Вашим отцом не более десяти дней из тех почти трех лет, что просидел в этой тюрьме... После моего возвращения к жизни (примерно с 1955 года) я всегда искал книгу «Поворот все вдруг». Фамилию отца даже забыл. Но когда услышал фамилию Колбасьев, снова встал передо мной тонкий моряк с бородой, горящими глазами, необыкновенно подвижный, повторяющий наизусть Лермонтова.

И наша «одиночка». А теперь, перечитывая его рассказы, я переживаю свидание с этим необыкновенно интересным человеком, который встретился мне в столь трагической обстановке давным-давно, и оставил о себе живое воспоминание. И если Вы не видели отца с 1937 года, чувствую себя вправе передать Вам от него привет и воспоминания. В конце концов от нас всех ничего более не остается.

С сердечным приветом

В. Ярошевич

4.11.1971 г.»

Низкий поклон Вам, Вениамин Александрович!

Очень горько, что у нас не было возможности успокоить отца, уверить его в том, что мы никогда не сомневались в чистоте его совести.

Никогда!

Галина Колбасьева



**Борис
Петрович
КОРНИЛОВ**

1907—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28 — 517
Ленинград

Корнилов Борис Петрович, 1907 года рождения, уроженец г. Семенова Горьковской обл., русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 123.

Арестован 20 марта 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—8 (террористический акт), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

20 февраля 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда РСФСР приговорила Корнилова Б. П. к высшей мере наказания.

Расстрелян 20 февраля 1938 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 5 января 1957 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 20 февраля 1938 года в отношении Кор-

нилова Б. П. отменен, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Корнилов Б. П. по данному делу реабилитирован.

(Для сведения сообщаем, что существует комиссия по литературному наследию поэта Б. П. Корнилова при СП СССР. Обращаться по адресу: 107392, Москва, Знаменская ул., д. 19, кв. 116. К. И. Позднякову.)

Из книги «Писатели Ленинграда»

Корнилов Борис Петрович (16.VII.1907, г. Семенов, ныне Горьковская область—20.II.1938), поэт. До 15 лет жил в д. Дьяково. В 1922 году семья Корниловых переехала в г. Семенов. Здесь он окончил среднюю школу. В конце 1925 года уехал в Ленинград, вступил в литературную группу «Смена», которой руководил В. Саянов. Первое стихотворение напечатано в 1925 году (газета «Молодая рать», Нижний Новгород). В начале 30-х годов написал ряд поэм, из которых широкую популярность приобрела поэма «Триполье». На стихи Корнилова написаны песни, среди них — песня Д. Шостаковича для кинофильма «Встречный» («Нас утро встречает прохладой...»). С середины 30-х годов стал сотрудничать в газете «Известия». В 1936—1937 годах написал цикл стихотворений, посвященных Пушкину.

Молодость: Стихи. Л., 1928; Первая книга: Стихотворения 1927—1931 годов. М.—Л., 1931; Все мои приятели: Стихотворения 1930—1931 годов. М.—Л., 1931; Триполье: Поэма. Л., 1933; Книга стихов. М.—Л., 1933; Стихи и поэмы. Л., 1933; Как от меда у медведя зубы начали болеть. М.—Л., 1935 и др. изд.; Моя Африка: Поэма. М.—Л., 1935; Стихи и поэмы. М.—Л., 1935; Новое. М.—Л., 1935; Стихотворения и поэмы. Л., 1957 и 1960; Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966; Избранная лирика. М., 1966 и 1968; Избранное. Горький, 1966 и др. изд.; Стихотворения. М., 1967; Продолжение жизни: Стихотворения; Поэмы. М., 1972; Страна встает со славою: Стихотворения. М., 1976; Избранное. Л., 1978; Избранная лирика. Л., 1978.

Пурикова Г. Борис Корнилов: Критико-биографический очерк. Л., 1963; Заманский Л. Борис Корнилов. М., 1975; Поздняев К. Продолжение жизни: Книга о Б. Корнилове. М., 1978.

О «КРЕСТНОМ ОТЦЕ»

Знаменитым Корнилов стал после песни о «Встречном», написанной к кинофильму о рабочих Металлического завода, о встречном промфинплане, когда трудился там еще «царь-токарь». Песня жила такой независимой, всем нужной жизнью, что исполнять ее не перестали и тогда, когда с Корниловым случилось несчастье. Доходили слухи, что однажды он, уже заключенный в каком-то лагере, услышал по радио:

— Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река!

И будто бы остановился он, просиял и сказал: «А песня-то живет! Поют!»

В годы моей юности это был всеми признанный талантливый комсомольский поэт. На первом писательском съезде его похвалил Бухарин. Внешне Корнилов был отнюдь не красавец: среднего или даже ниже среднего роста, с покатыми, не широкими плечами, с грубоватым лицом, создавая которое, природа, как когда-то писал Гоголь, не пользовалась тонким инструментом, а работала больше топором. Известная его фотография с отретушированными веками, в издании «Библиотека поэта», — плод усилий фотографа и ретушера, в чем вряд ли нуждается настоящий поэт. Впечатлял его самобытный талант, яркая образность, темпераментность его стихов. Читал он с нажимом (как, впрочем, и писал, судя по его автографам), очень эмоционально. Корнилов был поэт «божьей милостью», талант бесспорный.

Он был очень русский — по какой-то размашистости, по глубинному ощущению русской природы. И вместе с тем был он одновременно самый настоящий интернационалист. Лежала ли в основе этого пресловутая широта русской души, свойство, рожденное на просторах многонациональной России? Не знаю. Но именно этим был он мне симпатичен.

Корнилова я не только слушала на его вечерах или выступлениях, но и была знакома с ним и его женой Люсей. На занятия в РЛУ он приезжал и в такие часы, когда свои произведения читали мы. Я в ту пору увлекалась стихами Уолта Уитмена, подражала ему, писала белым стихом. Мир человеческих чувств у меня искал себе выражения и через картины леса, буйство природы, образы животных, которые сопротивляются боли и злу. Этих стихов я не публиковала, а скорее всего, их бы и не приняли к печати, но что-то от меня в них было. Услышав когда-то поговорку «Гони при-

роду в дверь — она влетит в окно», я почувствовала, что она словно бы отложила в подсознании. Время от времени мне снились небольшие животные — зайцы, белки, которых я настойчиво «паковала» в чемодан или какой-то ящик, а они лезли оттуда, высовывались, выскальзывали. Приходилось и в жизни сражаться с собственной природой, и сражаться, как правило, успешно. Этот образ непослушных зверьков и птиц, рвавшихся на волю, шел в моих снах за мной десятилетиями.

Корнилов обратил внимание на мои стихи. Пригласил прийти к нему в гости, домой, — тогда он жил в одном районе со мной, на Петроградской стороне, близко от проспекта Щорса и Пионерской улицы. Жена его Люся, миловидная, худенькая, мне понравилась. Когда я вошла, Корнилов ужинал. Люся сварила сардельки. Не разделив их, он наколол вилкой одну и та потянула за собой цепочку из трех сарделек. От нижней он откусывал. Рисовался немножко, как дитя. Впрочем, детское что-то есть в каждом настоящем поэте.

Корнилов попросил меня почитать стихи. Я почитала. Большая часть их была ученическими, свой голос разве что начинал прорезаться, как первый зуб. Корнилов послушал и вдруг сказал: «Из нее такая медведица вырастет...»

В ту пору я, начинающий автор, написала стихотворение о предках, живших в керженских лесах:

В тишине не падал с ветки желудь,
Неизвестен был пред смертью страх
В родине дедов моих тяжелых,
В заповедных керженских лесах...

В этом стихотворении не обошлось без влияния Корнилова, писавшего о Керженце. К слову сказать, я по отцу была землячка его, он ведь тоже нижегородский. В стихах Корнилова — родство с природой, ощущение первобытности дикой природы, окружающей нас. В лирическом стихотворении, обращаясь к возлюбленной Серафиме, герой сам как бы становится частью природы, соловьи с соловьятами почти родня его.

Особенно по душе мне пришла поэма Корнилова «Моя Африка». Ведь тема ее — интернациональная солидарность, герой — негр, участник гражданской войны в России. Я много раз слышала эту поэму в чтении автора и это не могло надоедать. Запоминались строфы, целые главы, и не только посвященные основному герою. «А я запомню года на четыре

волос твоих пушистую лису...» Мне казалось, что я знала прототип этого образа — ленинградскую поэтессу Ольгу Берггольц, встречалась с ней в Доме писателей, а значит, и размышляла над строками: «Любила ли? Пожалуй, не любила, но все-таки любимая была».

Корнилов приглашал меня заходить к ним, я встречала у него Бориса Лихарева и других литераторов. Были у меня две книги стихов Б. Корнилова с автографами. Были тогда, еще в студенческие годы. На одной стояло мое имя и только подпись поэта, на другой Корнилов написал: «А я хоть крестный, да отец». Смысл этой надписи таков.

Когда у меня родилась дочь и Борис и Люся об этом узнали, они попросили, чтобы я пришла к ним с младенцем. Пришла я не сразу, сначала попала в больницу, настрадавшись вдоволь, месяц провела в Доме отдыха «Мать и дитя» на островах, и наконец приехала со своей малявкой к Корниловым. Люся получила из магазина, в шутку называемого тогда «Смерть мужьям», белую вышитую блузку. Примерила ее при мне. Люся была тоненькая, изящная женщина. Жаловалась на необоснованную ревность мужа, на его грубость. Была какой-то пугливой и вызывала мое сочувствие. Корнилов достал припасенную заранее огромную коробку конфет, одобрительно посмотрел на мою кроху и вручил конфеты, а с ними книгу. «Я теперь буду крестным отцом Вашей дочки», — заявил он торжественно. Я успела попробовать конфеты, но взять их не могла — ребенок в одеале, сумка с пеленками, — коробка никуда не помещалась. А тут еще вошли какие-то двое, молодые, чернявые, с улыбочками. И Корнилов поспешно пригласил их в другую комнату. На лице Люси появилась какая-то судорога, тревога, объяснить я не могла, но почувствовала, что она этим визитом недовольна, и поторопилась уйти.

Я не знаю даты ареста Корнилова, помню только, что незадолго до него он по моей просьбе пришел на литературный кружок нашего факультета. Кто-то фотографировал. В коридоре филфака слева от лестничной двери висела многометровая стенгазета нашей литгруппы «Громобой», посвященная встрече с Корниловым. Ну не многометровая, а все же длиной более двух метров. Там была крупная фотография — портрет поэта. И вот я пришла утром на лекции и увидела, что снимок этот срезан, как и фотография нашей встречи с Корниловым. Хотела возмутиться, но кто-то торопливо пояснил: Корнилова арестовали.

Обстоятельства сложились худо. В связи с той самой кляузой, где говорилось о «ценных подарках врага народа», факультетское бюро комсомола после двух часов обсуждения большинством в один голос исключило меня из комсомола. Зачитали это подметное письмо, не назвав фамилии автора. Я высказала догадку. Потребовали «положить билет». Я отказалась, заявив, что не взяла его с собой, что буду апеллировать. Бесстрашно защищал меня наш комсорг Гриша Железняк. Он погиб в годы войны.

Мы были воспитаны в глубочайшей вере, преданности делу Ленина и вообразить то, о чем сегодня знаем достоверно, просто не могли. Моя ненависть была воистину безразмерна. Придя домой и рассказав обо всем домашним, я спокойно уснула. Мой муж и родители двое суток не спали, ожидая ночного звонка — ведь на бюро факультета не скрывали: тех первых арестовали с комсомольскими билетами, за это кому-то попало. Все понимали, что именно за этим должно последовать. Все, кроме меня самой.

И все-таки меня не посадили. Спасло постановление январского Пленума ЦК партии 1938 года, опубликованное в «Правде» 19 января. В нем обличались перегибщики, исключавшие членов партии сотнями и даже тысячами, оптом. Приводилось много фактов. На другой день был понедельник. Утром я явилась на факультет. У вешалки меня встретил секретарь факультетского бюро, извинился, сообщил об отмене решения сказал, что клеветника будут исключать из комсомола на факультетском собрании. И его исключили. Все вздохнули с облегчением: дескать, конечно, товарищ Сталин ничего не знал, это наделали какие-то мерзавцы-перегибщики, теперь будет порядок. Между тем, если вчитаться в текст постановления, то наряду с обличительными словами сама «терминология» осталась прежней, наличие врагов подразумевалось по-прежнему. Вскоре аресты были продолжены. Вместо Ежова появился новый деятель — Берия, который на пленуме заявил: «Не хватит ли нам чисток?» Наверное, добрый, человечный... Не зная о двойственности Сталина, трудно понять сам народ, честно надеявшийся, что он строит социализм.

А талантливого советского поэта Бориса Корнилова не стало. За что его посадили? О чем он рассказывал мне, когда бывала в его доме? В частности о дружбе с Всеволодом Мейерхольдом и его женой Зинаидой Райх. Говорил, что она находила в нем сходство с Есениным. Его в том доме принимали охотно. Но ведь Мейерхольд был репрессирован,

а Райх — убита дома при загадочных обстоятельствах. Я не пыталась добраться до архива дела Бориса Корнилова...

Борис Корнилов остался жить в своих стихах, поэмах, песнях. Много раз уже выходили любовно подготовленные сборники его произведений с фотографиями и комментариями. Он неповторим, его размашистая, страстная поэтическая манера запоминается. Поэмы его учат быть верными делу революции, учат интернационализму. «Песня о встречном», музыку к которой написал Дмитрий Шостакович, живет и поется, словно ее писали вчера.

Елена Серебровская

ТАК СОЗДАВАЛАСЬ ЛЕГЕНДА...

Летом 1958 года я приехал в отпуск в свой родной город Семенов. И только тогда узнал о некоторых подробностях жизни Бориса Корнилова. Собственно, жизни-то у него почти и было. Он умер в тридцать лет, в расцвете творческих сил, на пороге большого пути в большую поэзию.

В те тридцать седьмые годы умирали многие, умирали бесславно и исчезали бесследно. Исчез и Борис Корнилов.

Можно было бы давно смириться с этой тяжелой утратой, но восьмидесятилетнюю старушку-мать мучила одна мысль — а может быть, он не был расстрелян и оставался некоторое время жить, может быть, он умер своей смертью? Но где?

Таисия Михайловна — мать поэта — рассказала мне об одном эпизоде. Весной 1939 года к ней на квартиру зашел какой-то молодой человек, который назвался Кириллом. Этот гражданин рассказал, что до ареста он жил в Семенове, а после ареста находился в заключении вместе с Борисом, и что заехал по пути в Семенов забрать инструмент для строгания стружки. Кирилл рассказал также, что Борис живет хорошо, что хлеб у него есть: работает он бригадиром на лесозаготовке, пользуется уважением и авторитетом. Но последнее время, рассказывает он, сильно жаловался на зубную боль. Кирилл оставил адрес Бориса и просил ему написать. Таисия Михайловна в этот момент была потрясена другим горем — из тюрьмы пришло свидетельство, что ее муж — Петр Тарасович, арестованный по ложному доносу, умер во время следствия от туберкулеза легких.

Под влиянием этих переживаний она не догадалась записать адрес Кирилла. Как много бы мог он рассказать сейчас!

Письма по указанному адресу уходили одно за другим, но ответа на них не было.

Когда Таисия Михайловна рассказала мне об этом, я решил заняться поиском. Не меньше тридцати домов пришлось обойти в городе и поговорить со многими людьми, прежде чем удалось встретить человека, который назвал мне фамилию Кирилла — Вайнонен, родом из Финляндии или из Карелии, год рождения примерно 1918.

Недавно я получил письмо из Ленинградской области от Карла Вайнонена, который обещал мне помощь в поисках Кирилла.

Дело на Бориса Корнилова, с которым мне удалось познакомиться в Ленинграде, не раскрыло истины. Приговор гласит: «За принадлежность к троцкистской террористической организации и распространение нелегальной литературы приговорить Корнилова Б. П. к высшей мере наказания». В свидетельстве о смерти записано, что он был расстрелян 20 ноября 1938 года, т. е. через десять месяцев после приговора. Мог ли быть заменен приговор о расстреле другой мерой наказания? Очевидно, мог. Есть все основания предположить, что Корнилов мог жить и позже, тем более, что имеются свидетели его «жизни» после «официальной смерти».

Один из свидетелей — Виктор Белоусов — так описал события тех дней: «7 мая 1946 года эшелон из 56 вагонов с зарешеченными окнами прибыл в Харабаровский край на станцию Известковую Дальневосточной железной дороги. Эшелон был сборный, в нем были вагоны из центральных областей России, с Урала, из Сибири. Спали в палатках по 40—60 человек на двухэтажных нарах.

Я, как всегда, в свободное время сочинял стихи. Однажды я сидел и подбирал рифму к стиху. С соседних нар поднялся человек, подошел ко мне сзади и спросил: «Что, стихи пишешь?» «Да», — ответил я. «А ну, разреши посмотреть». Он взял из рук блокнот, вынул из нагрудного кармана коричневый карандаш и стал делать пометки. Не торопясь, разбирая каждую строчку, он отмечал или подчеркивал абзацы, а затем спокойным, неторопливым голосом объяснил, где надо улучшить рифму, где заменить строчку, где привести размерность стиха в необходимое соответствие. В общем это была дружеская беседа о литературном творчестве, о началах поэзии.

— Моя фамилия Корнилов, не читал ли ты что-либо этого автора? — спросил он.

Я попылся в памяти и ответил, что нет.

А знаешь ли ты песню:

Нас утро встречает прохладой.
Нас ветром встречает река.

Вторую часть стиха я прочитал ему сам:

Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка.

Я эту песню, конечно, знал.

— Она написана на мои слова, — сказал он.

Затем, рассказывает Белоусов, мы долго беседовали о поэзии, о поэтах. Он поразил меня широкой эрудицией, глубоким знанием поэзии — нашей и зарубежной.

Всего три дня были вместе. За это время мы как-то даже сдружились. По вечерам читали стихи: он мне Есенина, я ему Маяковского. Помню, когда я рассказал, что поссорился с любимой девушкой, он посоветовал написать ей и отправить вот это стихотворение Сергея Есенина:

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

На пересыльном пункте нас мыли, стригли, одевали в трофейную одежду квантунской армии, а затем рассылали по рудникам. За эти три дня Борис Корнилов так и не обмолвился о своем творчестве. Он рассказывал о Пушкине, о Байроне, о Поле Элюаре, но не о себе. Говорил он вполголоса, был добродушен и обаятелен. Лицо было худое, вид измученный».

Когда я показал Белоусову фотографию Корнилова, он сказал, что сомнений нет. Это был он.

11 мая Белоусов уехал на рудник. Корнилов еще остался на прежнем месте.

Куда попал он позже? Какова его судьба? Почему он все это время молчал? Трудно поверить, что он жил и не давал о себе знать. Но факты упрямо говорят о том, что это могло быть.

Редакция газеты «Молодой дальневосточник» приложила много усилий в поисках сведений о пребывании Корнилова в Хабаровском крае, но пока официальных документов, подтверждающих рассказанное Белоусовым, не найдено.

В Москве я разыскал поэта Алдан-Семенова, который рассказал мне, что, будучи репрессированным и сосланным

в г. Джамбул, он в 1953 году случайно встретил на улице женщину. Они оба искали квартиры для поселения. Нашли их недалеко друг от друга — в глиняных мазанках. Узнав, что Алдан-Семенов — поэт, женщина принесла ему рукописи стихов в двух толстых тетрадах. Рукописи принадлежали поэту Борису Корнилову. Она показала и бережно хранящиеся у нее вырезки из журналов и газет с его произведениями.

В те годы Алдан-Семенов не придавал особого значения рукописям «запрещенного» поэта, а когда вскоре наступило долгожданное освобождение, было не до этого. Женщина, по его описанию, была среднего роста, черноволосая. В Джамбул она приехала из Красноводска с сыном лет 7—8. Есть основания предполагать, что познакомилась она с Корниловым будучи в заключении. К сожалению, эти скупые сведения недостаточны для того, чтобы отыскать эту женщину. Но поиски будут продолжаться. . .

В. Саечников

БОРИС КОРНИЛОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Я нюхал казарму, я знаю устав,
я жизнь проживу по уставу:
учусь ли, стою ль на посту у застав —
езде подчинен комсоставу.

Зеленое, скучное небытие,
хотя бы кровинкою брызни,
достоинство наше — твое и мое —
в другом продолжении жизни.

Все так же качаются струи огня,
военная дует погода,
и вывел на битву другого меня
другой осторожный комвзвода.

За ними встревожена наша страна,
где наши поля и заводы:
затронута черным и смрадным она
дыханьем военной погоды.

Что кровно и мне и тебе дорога,
сиреной приглушенно воя,
громадною силой идет на врага
по правилам тактики боя.

Врага окружая огнем и кольцом,
медлительны танки, как слизни,
идут коммунисты, немея лицом, —
мое продолжение жизни.

Я вижу такое уже наяву,
хотя моя участь иная, —
выходят бойцы, приминая траву,
меня сапогом приминая.

Но я поднимаюсь и снова расту,
темнею от моря до моря.
Я вижу земную мою красоту
без битвы, без крови, без горя.

Я вижу вдали горизонты земли —
комбайны, качаясь по краю,
ко мне, задыхаясь, идут. . .
Подошли.
Тогда я совсем умираю.

(1932).



**Георгий
Иосифович
КУКЛИН**

1903—1939

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управления по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Куклин Георгий Иосифович, 1903 года рождения, уроженец д. Игнатьево Нижне-илимского района Иркутской области, русский, гражданин СССР, беспартийный писатель, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 4. жена — Мандрыкина Людмила Алексеевна, 30 лет (в 1938 году) (в 1957 году проживала: Ленинград, Невский пр., д. 136, кв. 13)

Арестован 5 февраля 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 17, 58—8 (подстрекательство к террористическому акту), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

23 сентября 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Куклина Г. И. к тюремному заключению сроком на 8 лет, с последующим поражением в политических правах сроком на 3 года.

В деле имеется заявление жены Куклина Г. И. — Мандрыкиной Л. А., из которого следует, что Куклин Г. И. умер 9 ноября 1939 года в г. Красноярске, в тюремной больнице.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 4 февраля 1958 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 сентября 1938 года в отношении Куклина Г. И. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Куклин Г. И. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Куклин Георгий Осипович (20. V. 1903, д. Игнатово, ныне Иркутская область — 9.XI.1939, Красноярск), прозаик, детский писатель. Окончил учительскую семинарию (1921) и факультет общественных наук Ленинградского университета (1925). Работал в библиотеках Ленинграда (1925—1930), преподавал русский язык и литературу в школах ФЗУ (1924—1927, 1930) и школах взрослых (1924—1927), руководил детскими литературными кружками. Начал печататься в 1926 году (рассказ «Река пошла» в газете «Ленинские искры»). Входил в литературную группу «Перевал». Печатался в «Крестьянской газете», член «Северной бригады», выезжавшей в Ленинградскую область и Карелию в 1930 году (кн. «Сквозь ветер»), в Кузнецкстрой в 1931 году (кн. «На гора»). Входил в группу писателей, работавших над историей Балтийского завода (1934). Архив хранится в ГПБ.

Деревенские ребята: Рассказы. Л., 1926; Один в лесу. М., 1929; Игренька: Рассказ для детей. Л., 1929; Ребята и кони: Пять рассказов из жизни деревенских ребят. Л., 1929; Шальная вода Северная бригада: Г. Куклин, С. Спасский, Е. Тагер, Н. Чуковский, Л., 1931; Остров Кильдин. М. — Л., 1931. — В соавт. с С. Спасским и Н. Чуковским; Школа. Л., 1931; Непредвиденные записи. Л., 1931; На гора; Роман. Л., 1932; Учителя: Роман. М., 1935.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЕМУ ОТ ПОТОМКОВ

Ленинград он считал городом своей судьбы, хотя, быть может, сибирская природа вошла навсегда в его плоть и кровь, пытался смотреть на природу взглядом горожанина,

уже захваченного иными ритмами и проблемами. Но в сознании постоянно «всплывают пейзажи широкой тайги, но мысли сторонятся их, минуют, идут дальше...» «...Я очень люблю город, вот эти уличные фонари, гранитные заборы, суету рабочего утра...»

Георгий Куклин. Более полувека назад это имя было вычеркнуто из списков граждан нашей страны. Стоящие на библиотечных полках его книги уже пожелтели от времени. И трудно найти людей, знавших автора. И автобиографии, проливающей хотя бы слабый свет на его личность — тоже не сыскать; скудные строки библиографических справочников содержат лишь анкетно строгие сведения.

Кем был Георгий Куклин? Чем жил он, страдал ли? О чем думал? Кто были люди, его окружавшие?

Писателем, к счастью, дана возможность оставлять частицу своего «я» в книгах. Читая их, можно восстановить, хотя бы в общих чертах, мир художника.

Он родился в сибирской деревне. Что мы знаем о детстве писателя? В одной из повестей («Ольга») промелькнуло: учился в приходской школе.

Первая мировая война не пощадила и далекую Сибирь. «Горькими ручьями война затопила всю страну. Побор за побором, набор за набором — слышно, ратников призывают второго разряда, двинут следом белобилетников.

Везут солдат, навстречу везут с фронта — безглазых, хромых: «бегут беженцы», — напишет он впоследствии в романе «Учителя». «Мертвые кости с далекого края», как пели тогда.

Впечатления от Иркутска, куда Куклин попал, по-видимому, юношей: мастерская «выбитого из Петербурга скульптора», разговоры о судьбах России, об автономии Сибири, о судьбах народа, и о том, что нужно сделать для его счастья; о роли и месте в обществе интеллигенции, и о том, что будет, когда народ «разогнет спину». Политические беседы в кругу единомышленников. Вдоль пространств Сибири пролегали дороги и тракты, по которым издавна везли опасных сынов и дочерей России:

... Динь-бом, динь-бом —
Слышен звон кандалный.
Динь-бом, динь-бом —
Путь сибирский дальний...

«Когда Колчака разгромили, начались мои скитания по Сибири и Украине. Я много видел, но мало чему научился и не поймал специальности», — напишет Георгий Куклин в по-

вести «Непредвиденные записи». «И вот, очутившись в Ленинграде, я попал в канцелярию. Несмотря на беспутную свою жизнь, работать я любил и в канцелярию пошел охотно. Я думал: после шести обязательных часов я смогу уходить в вольный мир набережных, барок, библиотек; кроме того, я знал нужду социализма в канцелярии. Здесь цифры, учет, перспективы — равноправный с другими участок работы.

Сидя в канцелярии, прислушиваясь к голосу пера, трогая руками крученые стебельки конторского шнура, я весело ощущал себя одним из погонщиков бесчисленных табунов дел. Даже плыли мечты. Вот научусь лаконизму деловых слов, экономному севу строчек на листы, пригляжусь к работам счетных костяшек, арифмометров, пишущих машин; проработаю колонны систем бухгалтерии, изучу людской материал канцелярии — напишу книгу. Я назову ее: «Высоты канцелярского труда», и встанет она в один ряд с работами мыслителей. А что ежели распахнуть окно и прямо из окна прыгнуть в эпоху?..»

Впрочем, желание стать писателем, чувствуется во многих произведениях Георгия Куклина. Частица авторского «я» вспыхивает то там, то тут: этнограф Михаил (из повести «Ольга») «направляется к тунгусам в поисках их фольклора и быта». Один из героев романа «Учителя» — произведения, с которым особенно жестоко обошлась критика, что, возможно, в конечном итоге и решило судьбу автора, — деревенский мальчик Максим намеревается описать долгий путь из деревни в Петербург.

Сухие строки библиографического справочника сообщают, что Г. О. Куклин окончил учительскую семинарию в 1921 году и факультет общественных наук Ленинградского университета (1925); что он работал в библиотеках Ленинграда и преподавал русский язык и литературу в школах ФЗУ и школах взрослых, руководил литературными кружками. Первая публикация состоялась в двадцатитрехлетнем возрасте.

Если бы судьба Г. Куклина сложилась иначе, наша литература не лишилась бы прекрасного прозаика, знатока народов Сибири, думающего, болеющего за Родину гражданина.

Вот его портрет — на суперобложке одной из книг. Умное интеллигентное лицо, очки, волосы ежиком.

«Жизнь менялась. Умерла высокая дума благородных одиночек, — размышлял вместе со своим героем Георгий Куклин в бессонные питерские ночи. — Вымер и носитель ее — неудачник-индивидуалист... Личность, подброшенная высоко руками веков, упала, чтоб во множестве других прорасти...»

...Перегорела старая интеллигентская кровь. Как в библейском сказании, выйдет из глины новый человек — земля и железо — и по образу своему построит мир...» («Непредвиденные записи»).

Он любил Пришвина, старого охотника и отличного писателя, нередко вспоминал его, бродя по тайге. Любил и часто цитировал Есенина. Есенинские строки помогали Куклину в трудную минуту: «Есенин был щедр, вывернулся, размотался — за это умер...»

Большое впечатление произвели на Куклина стихи Бориса Пастернака, поразили «мудрость и завывающиеся жгуты строк. Их не расплести, не забыть; они как лето, как влажный утренний сад».

Ленинград открыл новую страницу в его жизни: «...Я живу как никогда полно, как никогда широко. Одновременно я перелистываю желтую книгу пустынь, рыжую — тундры и зеленую — этой тайги... Не на этом ли вечном и обязательном чувстве — весь мир во мне и я во всем мире — родились думы людей и битвы за братство?» Это писал Г. Куклин в 1929 году.

Повесть «Непредвиденные записи», на мой взгляд, лучшая из созданного им. Неподавластный времени сюжет — молодой человек, тяжело раненый, борется со смертью в заброшенной таежной избушке, и в конце концов умирает, не дождавшись помощи. Повесть эта во многом автобиографична, не в смысле событий, а по анализу внутреннего мира героя, на место которого ставит себя автор. Критикой, насколько можно судить, она была не замечена.

Несмотря на свой короткий путь в литературе Георгий Куклин оставил после себя немало книг. Ему удалось показать широкий социальный срез. Герои его произведений — гимназисты и безусые политики, мигом повзрослевшие подростки, занимающие на деревенских игрищах место призванных на войну парней, ремесленники, мужики деревенские и заводчане, урядники и богомольные старушки, арестанты, ссыльные, представители новой нарождающейся после революции интеллигенции — народ в самом широком смысле слова. Однако далеко не сусально выглядит в книгах Куклина народ российский: «Наш город на всю Россию славен. Ох, и дерут водку. Вдругорядь до... вилки настегаются, так и говорят. Нё знаю, отчего... У нас водка — первый товар...» («На гора»).

Многое можно прочесть у Г. Куклина не между строк, а открытым текстом. И прежде всего — боль писателя за

свою страну, попытка войти в колею новой жизни, выжить вместе с Россией. Может быть, его невнимательно читали те, кто отвечал за повальную идеологизацию литературы и искусства? Иначе тучи сгустились бы над его головой гораздо раньше.

«...Тяжело давался стране уголь, — писал Г. Куклин в повести „На гора“. — Уголь не добывали, а ковыряли... День был ясен, а цифра добычи мрачна... Местная печатная газета трубила: прорыв! Собирался горком партии. Приезжали работники центра: прорыв — позор, длительный прорыв — позор вдвойне... Прорыв — это собрания... Прорыв — это газеты изо дня в день, и чем дальше, тем тревожнее...»

Все это теперь, спустя полвека, до боли знакомо. Но в тридцатые годы показывать жизнь такой, какой она на самом деле выглядела, а не какой ее хотелось бы видеть рулевым государственного корабля — для этого надо было иметь гражданское мужество.

Писатель постоянно размышляет о судьбах отечественной культуры. «Была могучая, болезненная русская литература. Деревни переживаний, просто деревни... в воздухе — молоко парное. Так познавали, так и учились писать мы. Росли благодарность и сгущалась духота. Куда ни глядишь — униженный, куда ни бежишь — оскорбленный, а рядом столбы одиночного бунта, и бунт превращается в дым. Запоминалось: одиночки. Узники собственной мысли...»

«...Что случилось? Осталась любовь, последняя ненависть да словесная вырчка...»

«...Переделывая жизнь, переделываем самих себя, — размышляет один из героев повести „На гора“. — Речь идет о кузнице людских кадров... Энтузиазм уже нынче не тот... Крикам больше не верим...» Книга, напомним, писалась в 1931—1932 годах.

У Г. Куклина очень хорошо показана природа. Его повесть отличает вера в добро, стремление превратить работу в искусство. Призрачные ледяные сибирские ночи. Сибирские реки, похожие и неповторимые, синие, почти неподвижные, окруженные по обе стороны мертвым лесом, или молчаливые как олово, или похолодевшие и полные от последних дождей.

Фразы нередко короткие, рубленые, как будто взгляд (автора ли, героя ли) выхватывает что-то необычайно важное из окружающей панорамы: «Шли. Места достигли к полудню... Лес. Болото. Кочки... Пастбище...»

Роман «Учителя» — последний из написанного Г. Куклиным, был назван «опасной книгой». «Для подростка, не на-

учившегося еще толково выражать свои мысли, это яд... Чтение такой книги — это сплошное испытание для читателя» (Литературное обозрение, 1936, № 2, с. 56).

Рецензия в «Новом мире» (1936, кн. 6, с. 281) выглядела более гуманной. Однако за внешней благожелательностью рецензента чувствовалось не столько желание помочь автору увидеть свое произведение со стороны, сколько «поучить» его, как надо показывать жизнь, о чем нужно писать и о чем не следует.

«Учителя», по мнению рецензента, говоря современным языком, недостаточно политизированная книга.

Автора упрекали в излишней привязанности к бытовым сторонам жизни в ущерб «политическому лицу» героев. А это обстоятельство значительно «снижает общественное значение и художественный уровень книги». Рецензент не скрывал, что книга читается легко, но объяснял это односторонним показом жизни сибирских ссыльных, обилием бытовых и любовных сцен. А где же пропаганда, где подготовка Октября — действие развивается в годы первой мировой войны, — где просветительская деятельность ссыльных?

Еще до того, как роман «Учителя» вышел отдельной книгой, он был опубликован в «Звезде», и критика (Литературный Ленинград, 1934, № 30) тут же обнажила свои зубы, показала, что в состоянии расправиться с молодым писателем.

Особенно ругали Г. Куклина за публицистические отступления, теперь, по прошествии времени, делающие только честь автору «Учителей».

«Война, захватившая людей — их кровь, достояние, — потребовала и высказываний. В Петербурге один журналист юродиво пророчил русское возрождение. Первые дни мобилизации представлялись пасхальным праздником с просветленными лицами: братья похристовались и пошли на смерть...

Рьяно подогревались националистические чувства.

Громоподобно падало к сынам родины: „Разгромить дерзкого врага человечества — Германию.

Дрогнули социалистические партии...»

Комментарии излишни, резюмировал рецензент.

Признавая «Учителей» одним из достижений молодого писателя, его осыпали градом упреков: не хватает «идейного кругозора», нет образов революционного борца, нет политического учителя, не видно среди героев и большевиков.

Куклина обвиняли в стилистическом трюкачестве, в акцентировании любовных сцен. Советского читателя это не интересует, считал рецензент.

Критики предрекали неудачу и следующей, еще не написанной книге автора — продолжению «Учителей», если автор не сумеет «переориентироваться».

Вторая книга не появилась.

5 февраля 1938 года Георгия Осиповича Куклина арестовали. Обвинение достаточно стандартное: статья 58—8 (подстрекательство к террористическому акту), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционных преступлений).

Суд приговорил Георгия Куклина к восьми годам тюремного заключения с последующим поражением в политических правах сроком на три года.

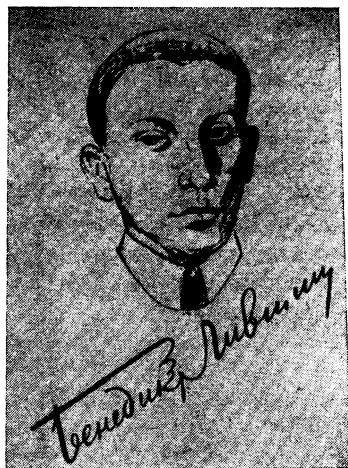
9 ноября 1938 года Георгий Осипович умер в Красноярской тюрьме. Через девятнадцать лет приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР был отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Г. О. Куклин реабилитирован посмертно.

Он не успел написать своей лучшей книги. Он успел только заявить о себе.

Прошло время, и другие события заслонили проблемы, волновавшие современников Георгия Куклина. И это естественно. Но одна из его книг — «Непредвиденные записи» — с интересом читается и в наши дни.

Низкий поклон ему от потомков.

Аэлита Ассовская



**Бенедикт
Константинович
ЛИВШИЦ**

1887—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управления по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Лившиц Бенедикт Константинович, 1887 года рождения, уроженец г. Одессы, еврей, гражданин СССР, беспартийный, литератор-переводчик, проживал: Ленинград, Басков пер., д. 19, кв. 6.

жена — Лившиц Екатерина Константиновна, 35 лет (в 1937 году) (в 1957 году проживала: Ленинград, ул. Л. Толстого, д. 1/3, кв. 68.)

сын — Кирилл — 11 лет (в 1937 году).

Арестован 25 октября 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58—8 (террористический акт), 58—11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

20 сентября 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Лившица Б. К. к высшей мере наказания — расстрелу.

Расстрелян 21 сентября 1938 года в г. Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 24 октября 1957 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 20 сентября 1938 года в отношении, Лившица Б. К. отменен, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Лившиц Б. К. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Лившиц Бенедикт Константинович (7.I.1887, Одесса — 21.X.1938), поэт, переводчик. Окончил юридический факультет Киевского университета. Печатался в сборниках футуристов «Пощечина общественному вкусу», «Садок судей» и др. Участник первой мировой войны, георгиевский кавалер, после ранения работал на заводе в г. Киеве. В 1922—1937 годах жил в Ленинграде. Наряду с оригинальными стихами в 20—30-е годы публикует многочисленные переводы. Отдельными изданиями вышли произведения Ж. М. Карре («Жизнь и приключения Артура Рембо», 1924), Ж. д'Эсма («Красные боги», 1924), П. Ампа («Золотоискатели», 1926), А. Франса («Красная лилия», 1928, «Боги жаждут», 1932), О. Бальзака («Величие и падение Цезаря Бирото», 1933, «Банкирский дом Нюсингена», 1933, «Вотрен»), В. Гюго («Человек, который смеется», 1935, «Труженики моря», 1935, «Последний день осужденного», «Марион Делорм»), Стендаля («Люсьен Левен», 1937), произведения Р. Роллана, А. Барбюса, Корнеля, Мольера, четыре книги Майн Рида. Составил антологию французской поэзии «От романтиков до сюрреалистов» (1934, 2-е доп. изд. под названием «Французские лирики XIX и XX вв.» вышло в 1937 году, 3-е изд. — «У ночного окна» в 1970). С 1930 года переводил стихи грузинских классиков и советских поэтов.

Флейта Марсия: Первая книга стихов. Киев, 1911; Волчье солнце: Книга стихов вторая. М., 1914; Из топи блат: Стихи о Петрограде. (Киев), 1922; Патмос: Стихи. М., 1926; Кротонский полдень, М., 1928, Полутороглазый стрелец. Л., 1933; Картвельские оды: Стихи. Переводы. Тбилиси, 1964.

МЕТАФОРЫ ОЖИВШЕЙ МАТЕРИК

Не осуди моей гордыни
И дай мне в хоре мировом
Звучать, как я звучал доньше,
Отличным ото всех стихом.

Бенедикт Лившиц — явление в нашей литературе незаурядное. Но до сих пор его место в пестрой и сложной картине культурной жизни XX века остается неуясненным.

Среди поэтов он — поэт.

Среди переводчиков — блистательный мастер перевода, единоличный создатель уникальной антологии новой французской поэзии.

Для историков литературы — участник и летописец зарождения русского футуризма, автор известной книги «Полутораглазый стрелец».

Для искусствоведов — знаток авангардистской живописи, прежде всего отечественной, но также и французской.

В одном лице — и теоретик, и практик, и историк. Он интересовался музыкой, обожал и собирал живопись, не чужд был философии, любил книгу. Он был эрудитом в лучшем смысле этого слова, жадно набрасывающимся на новые знания не ради них самих, но для того, чтобы понять себя и эпоху, найти свой путь в искусстве, правильно оценить предшественников и современников. Знания для него были постоянно действующей творческой силой.

И все-таки главным делом его жизни была поэзия. Не только делом, но и страстью. Поэзия как личное творчество, как постижение ее секретов на лучших образцах, как теория направлений и стилей, как практика перевода.

В том, что он делал сам, были точный глазомер и потаенная страсть. Он ценил расчет мастера и интуицию первопроходца, сосредоточенность ученого и голосовую мускулатуру страстного полемиста. Потому, надо думать, и прибило его, человека рафинированной культуры, к берегам русского футуризма.

Живопись, которой Бенедикт Лившиц увлекался глубоко и профессионально, в конечном счете была и для него лишь разновидностью художественного мышления, способной обогатить поэзию, дать ей если не материал, то угол зрения, изобразительную аналогию слову.

Его наследие помещается в трех небольших книгах: книге собственных стихов, книге стихотворных переводов и книге воспоминаний. Можно спорить о преимуществах каждой из них, но все вместе они составляют то, что называется именем Бенедикта Лившица, оригинального поэта, наблюдательного и умного мемуариста, личности во всех отношениях интересной и примечательной.

Окончив юридический факультет Киевского университета, он быстро распрощался с юриспруденцией. Интересы влекли его в другие области. Выразительный портрет молодого Бенедикта Лившица оставил в своих воспоминаниях А. Дейч: «Когда я вспоминаю о Бенедикте Лившице, передо мною отчетливо встает облик высокого красивого молодого человека с открытым мужественным лицом и приятным баритональным голосом. И вижу я его в его маленькой студенческой комнате... Юриспруденция его не очень привлекала. Два-три растрепанных учебника по римскому и гражданскому праву выглядели странным диссонансом на столе, заваленном томиками новой французской поэзии. Три сборника антологии Вальша, где была собрана длинная вереница поэтов XIX и начала XX столетий, всегда сопутствовали молодому поэту, отличавшемуся широким знанием мировой лирики. По самой природе своей поэт романтического духа, он особенно любил строгий и чеканный стих античных поэтов, французских парнасцев и итальянской классики. Чувствовалось его тяготение к античности, древней мифологии».

Он получил классическое образование. И принял его не как тягостную необходимость, а как открытие пространного мира богов и героев, чудесную область «довременного и запредельного».

Первые стихи Бенедикт Лившиц написал еще в гимназии. Печататься начал в 1909 году. Первая книга «Флейта Марсия» вышла в 1911 году в Киеве, когда он был еще студентом, тиражом 150 экземпляров. Тем не менее она была замечена. В. Я. Брюсов писал: «Все стихи г. Лившица сделаны искусно; можно сказать, что мастерством стихосложения он владеет вполне, а для начинающего это уже не мало».

Автору первой книги получить такую похвалу от самого Брюсова, ценителя ревнивого и взыскательного, было не просто. В конце концов в ту пору кто только не усвоил искусство стихосложения! Бенедикт Лившиц владел культурой в широком понимании слова, и это, конечно, прежде всего привлекало Брюсова.

Он был призван в армию из запаса. Словно прощаясь со своим прошлым, написал шутливые и слегка меланхолические стихи в «Чукоккалу». Сохранилась фотография, где уже остриженный Бенедикт Лившиц, немного позируя, сидит в группе с О. Мандельштамом, К. Чуковским и Ю. Анненковым. Его зачислили в 146-й Царицынский пехотный полк. Воевал он храбро, стал георгиевским кавалером, был ранен. Распростившись с армией, осел в Киеве, работал на заводе.

Илья Эренбург, тоже оказавшись в 1918—1919 годах в Киеве, оставил моментальную «фотографию» Бенедикта Лившица того времени: «Я помнил его неистовые выступления в сборниках первых футуристов. К моему удивлению, я увидел весьма культурного, спокойного человека: никого он не ругал, видимо, успел остыть к увлечениям ранней молодости. Он любил живопись, понимал ее, и мы с ним беседовали предпочтительно о живописи. Он мало писал, много думал: вероятно, как я, как многие другие, хотел понять значение происходящего».

В 1930-е годы он увлекся грузинской поэзией, полюбил Кавказ. Название последней, незавершенной его книги — «Картвельские оды» — точно отражает ее эмоциональный настрой и стилистику. Это — восторг перед открывшимся ему миром. Здесь впервые у Бенедикта Лившица появились в таком густом сочетании реалии жизни, современная деталь, конкретный пейзаж. Но на этом новом пути он не успел сказать своего последнего слова.

Плодом его глубокой любви и блистательного артистизма стали книги переводов из французской поэзии, пополнявшиеся от издания к изданию: «От романтиков до сюрреалистов» (1934), «Французские лирики XIX и XX вв.» (1937), «У ночного окна» (1970). Они пользовались большим признанием, чем оригинальные стихи.

Антологию, созданную Бенедиктом Лившицем, можно сопоставить лишь с антологией В. Брюсова и И. Анненского, много и успешно переведивших поэтов Франции. Однако она хронологически куда больше приближена к нашим дням: ее диапазон — от Ламартина до Элюара. Причем в антологию Бенедикта Лившица вошли поэты очень разные. Если витийственный пафос Гюго или тонкий интеллектуализм Валери безусловно близки ему по духу, то можно ли это сказать, например, о Шенье или Беранже?

Однако переводил он в действительности лишь то, что ему нравилось, то, в чем он находил свое. И получилось так, что рядом уживались изысканный Готье и громозвучный

Барбье, парнасцы Леконт де Лиль, Эредиа и их противники — «проклятые Рембо, Бодлер, Верлен, Роллина, неоклассики де Ренье, Мореас, Самен и новаторы Аполлинер, Жакоб, Элюар. Ничто его не стесняет, самые разные, можно даже сказать противоположные по творческим устремлениям поэты входят в круг тесных интересов и размышлений.

Самая известная книга Бенедикта Лившица — «Полутораглазый стрелец», книга воспоминаний и размышлений, некоторые сюжеты которой уже упоминались мною в связи с его творчеством. Вышла она в 1933 году. Еще свежа была память о событиях, в ней описанных. Многие их участники были живы. Но решительно изменился литературный быт. Пути прежних соратников разошлись. И потому недавнее прошлое оценивалось ими по-разному. Еще не сложилось историческое отношение к нему. Некоторые критики восприняли «Полутораглазого стрельца» как реставрацию прошлого, хотя Бенедикт Лившиц как раз пытался встать на историческую точку зрения, дать как можно больше фактов и проанализировать их. Он хорошо видел у футуристов расхождение теории с практикой, отделял декларации от реальных достижений. Наконец, для него была явной исчерпанность анархического бунта, не способного дать положительные ценности. Художники, которые вырабатывали их, неизбежно перерасстали футуризм.

Несколько десятилетий книга не переиздавалась. Но она жила. Без нее не мог обойтись ни один исследователь раннего Маяковского, Хлебникова, вообще литературной борьбы предреволюционных лет.

Книга давала уникальные сведения о зарождении футуризма. О создании его манифестов и деклараций. О подготовке выступлений и спорах среди его участников. О выставках авангардистской живописи. И что особенно важно — это был взгляд изнутри, взгляд не только свидетеля, но и участника событий. И одновременно — взгляд со стороны, потому что еще в предреволюционные годы Бенедикт Лившиц понял ограниченность футуризма и отошел от него.

Это двойное зрение определило структуру книги, два ее важных качества. Чтобы иметь полное представление о футуризме, об участии в нем Маяковского и Хлебникова, надо знать не только фактическую сторону дела — что, где, когда? Не менее важна психология ее участников, побудительные мотивы и цели, которые они перед собой ставили.

Горький даже в пору самых скандальных выступлений футуристов отказывался видеть в них школу или литератур-

ное течение. Он считал, что футуризма нет, но различал лица талантливых его участников, прежде всего Маяковского.

В «Полутораглазом стрельце» мы видим прежде всего лица, мастерски нарисованные портреты Бурлюков, Хлебникова, Маяковского, Гуро, Северянина, художников Гончарова, Кульбина, Экстер. Можем оценить и ту меру серьезности, с которой они относились к своим выступлениям, и привходящий момент игры, эпатажа, рекламы.

Бенедикт Лившиц в силу особенностей своего характера недоверчиво относился к внешней суете. Остро воспринимал всякую фальшь, двойной счет, позу. И потому его психологические зарисовки многое объясняют.

Одну из глав «Полутораглазого стрельца» Бенедикт Лившиц начал словами: «Литературный неудачник, я не знаю, как рождается слава». Действительно, слава к нему так ни разу и не пришла. Даже в пору самых громких выступлений футуристов его имя звучало скромно. Он никогда не занимал место в первых рядах поэзии. Писал скупое, книги его выходили ничтожными тиражами и, кроме переводов, не переиздавались. Сам его облик двоился, потому что из-за недоступности большинства книг трудно было связать воедино работу поэта, переводчика, мемуариста. Трагическая гибель в 1938 году погрузила его имя в полузабвение.

Привыкшая мыслить категориями школ, современная ему критика связывала его то с символизмом, то с футуризмом, то с акмеизмом. Бенедикт Лившиц, за исключением кратковременного участия в выступлениях футуристов, ни к какой школе, по сути, не принадлежал.

Его глубоко занимали общие вопросы жизни, отношения Востока и Запада, судьба искусства. В центре его поисков — философская проблематика, стремление к синтезу, попытка создать такую поэтическую систему, такой инструмент творческого познания, который бы помог не только поставить, но и разрешить коренные вопросы бытия.

Для поэзии, это, конечно, была непосильная задача. Но, ставя ее, Бенедикт Лившиц питал свою поэзию философской мыслью, напряженностью поиска и постижения, придавал ей тот высокий витийственный пафос, который четко выделяет его среди современников.

В 1987 году исполнилось сто лет со дня его рождения. Все лучшее, что написал Бенедикт Лившиц, сполна возвращается к читателю. Знакомство с его книгами обогащает наши представления о русской культуре XX века.

Адольф Урбан



**Михаил
Леонидович
ЛОЗИНСКИЙ**

1886—1955

Портрет, работы М. Сарьяна

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управления по Ленинградской области
21 декабря 1990 года
№ 10/14—7379
Ленинград

По имеющимся в Управлении УГБ СССР по Ленинградской области сведениям:

Лозинский Михаил Леонидович, 1886 года рождения, уроженец г. Гатчины, гражданин СССР, русский, выходец из дворян, сын присяжного поверенного, беспартийный, образование высшее, окончил юридический факультет Петербургского университета и прослушал курс историко-филологического факультета, работал в должности главного библиотекаря Государственной публичной библиотеки, литератор, проживал в г. Ленинграде, Кировский пр., д. 73/75, кв. № 26.

Арестован 20 марта 1932 года.

Постановлением Коллегии ОГПУ от 17 июня 1932 года осужден по ст. 58—10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) на 3 года лишения свободы условно.

По заключению Прокуратуры г. Ленинграда от 22 сентября 1989 года Лозинский Михаил Леонидович на основании

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Лозинский Михаил Леонидович (20.VII.1886, Гатчина — 31.I.1955, Ленинград), поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР. Окончил юридический факультет Петербургского университета, затем прослушал курс историко-филологического факультета (1909—1914). С 1914 по 1937 год работал в Публичной библиотеке, был главным библиотекарем, консультантом. Впервые его стихи были напечатаны в ежемесячнике «Гиперборей» (1912). В дальнейшем занимался преимущественно художественным переводом. Владел большинством западноевропейских языков, а также персидским. В его переводе опубликованы: «Гамлет» и «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Назидательные новеллы» Сервантеса, «Собака на сене» и «Валенсианская вдова» Лопе де Вега, «Тартюф» Мольера, «Сид» Корнеля, «Школа злословия» Шеридана, «Кармен» Мериме, «Кола Брюньон» Р. Роллана, стихотворения Гете, Шиллера, Бараташвили, армянский эпос «Давид Сасунский» и многие др.

Горный ключ: Стихи, М. — Пг., 1916 и Пг., 1922; Искусство стихотворного перевода: Тезисы доклада. М., 1935 (см. также: «Дружба народов», 1955, № 7); Багровое светило: Стихи зарубежных поэтов в переводе М. Л. Лозинского. М., 1974.

Фотография

не

найдена

**Михаил
Гаврилович
МАЙЗЕЛЬ**

1899—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управления по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Майзель Михаил Гаврилович, 5 марта 1899 года рождения, уроженец г. Витебска, еврей, гражданин СССР, кандидат в члены ВКП(б) с 1932 года, кандидатская карточка № 0202230, исключен 19 декабря 1936 года за участие в контрреволюционной троцкистской организации, зав. критическим отделом журнала «Литературный современник», проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 50.

жена — Гольдельд-Карова Евгения Марковна, 1897 года рождения, проживала с мужем

падчерица — Карова Ксана Дмитриевна, в 1963 году проживала: Новосибирск, ул. Станиславского, д. 7, кв. 68

Арестован 5 ноября 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 17—58—8 (пособничество в совершении террористического акта), 58—11 УК РСФСР (организацион-

ная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Приговором выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 декабря 1936 года определено содержание в тюрьме сроком до 10 лет с последующим поражением в политических правах сроком на 5 лет. Наказание отбывал в Белбалткомбинате (Соловки).

Постановлением Особой Тройки УНКВД ЛО от 10 сентября 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 4 ноября 1937 года.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 10 ноября 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 декабря 1936 года и постановление Особой Тройки УНКВД ЛО от 10 сентября 1937 года в отношении Майзеля М. Г. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Майзель М. Г. по данному делу реабилитирован.

Из материалов дела следует, что Майзель М. Г. во время гражданской войны 4 года находился в рядах Красной Армии (политотдел Западного фронта, политотдел 6-й отдельной армии, политуправление Петроградского военного округа), 2,5 года занимался газетой и политической работой на строительстве Хибинского района.

В 1928—1929 годах входил в литературную группу, во главе которой стоял Г. Горбачев. Эта группа входила в систему Ленинградской ассоциации пролетарских писателей.

В 1928 году участвовал в издании сборника «Голоса против».

РЕКТОР РЛУ

...Помнится, я спросил у кого-то из литераторов о судьбе ректора РЛУ — Рабочего Литературного университета (он существовал в начале 30-х годов в Ленинграде при Союзе писателей) Михаила Майзеля. И услышал в ответ, что его в 1936 году арестовали, дали будто бы срок — «пятилетку». И был он будто бы в Белбалтлаг, а там...

Рассказывали — худой, истощенный, ходил в какой-то затрепанной шинели, подвязанной веревочкой; от голода побирался по помойкам. Кажется, от истощения и умер.

Я пытался представить себе, как этот в былые времена стройный, всегда подтянутый, как бы слегка отутюженный

человек, аккуратно и шеголевато одетый в темный костюм, в очках, за стеклами которых поблескивали строгие глаза, там, в лагерной зоне, расслабленным шагом плетется от одной кучи отбросов к другой и что-то ищет, ищет...

В ту пору, мы, студенты РЛУ (а учебное заведение это было вечерним, все мы, его слушатели, днем работали), проходя в школьное помещение на улице Правды, неизменно видели там своего ректора (впрочем, может быть он назывался заведующим или директором, не помню). В эти полчаса-час до начала занятий он проходил по классам, заговаривал то с одним, то с другим. Его всегда волновало, хорошо ли начинающие поэты и прозаики посещают лекции и семинары. И тут же, на ходу отвечал на вопросы, выяснял и решал, что и как делать если кто-то из этой шумливой молодежи нуждается в помощи (чтобы не посылали в вечернюю смену, не отправляли в командировку). А в свой кабинет заходил уже после звонка.

В 1931 году РАПП совместно с ВЦСПС объявил «призыв рабочих-ударников в литературу». Одним из «призванных» был и я (мой портрет в рабочей спецовке с соответствующей подписью появился на страницах газеты «Красный путиловец»), но главным в этой очередной и шумной кампании был конечно Валерий Виноградов, рабочий тракторного отдела. В 1931 году вышла в свет его книга «Линия наибольшего сопротивления» под рубрикой «Современная пролетарская литература. Призыв ударника». В предисловии к ней Михаил Майзель писал:

«Призыв рабочих-ударников в литературу, — факт огромного значения, и не критическое отношение к этому явлению, малейшие попытки воскресить печальную формулу «хоть сопливенький, да свой», на настоящем этапе развития пролетарской литературы будут наносить непоправимый вред делу правильного воспитания новых кадров рабочих-писателей». Он подчеркивал, что необходимо «внимательное и бережное отношение к каждому проявлению молодого рабочего творчества».

Назначение Майзеля на пост руководителя первого в стране учебного заведения, которое воспитывало и приобщало к большим знаниям литературную молодежь, не было случайным. Михаил Гаврилович в русле тогдашних идеологических установок понимал свою задачу серьезно.

Помнится тон, каким он говорил со студентами: подчеркнуто уважительный, тон интеллигента, для которого резкость, грубость абсолютно неприемлемы. Но когда ему приходи-

лось выступать на собраниях в Доме писателя (а собрания в те годы были полны горячей полемики о новых книгах, о проблемах советской литературы, о творческом методе), он нередко утрачивал этот свой несколько докторальный тон, начинал волноваться и голос у него становился тонким, высоким.

Его имя как критика было широко известно, и не только в Ленинграде. Критик, литературовед, публицист — он уже имел педагогический опыт, был доцентом Ленинградского историко-лингвистического института, заведовал критическим отделом журнала «Литературный современник».

Его жизнь до декабря 1936 года была наполнена литературным трудом. В этом был ее смысл. Но он не был просто наблюдателем и регистратором общественного процесса. До Первого Всесоюзного съезда писателей оставалось еще несколько лет. Между различными группами шли жаркие непримиримые споры о судьбах и путях советской литературы. Михаил Майзель был среди тех, кто состоял в литературной группе, возглавляемой Георгием Горбачевым, профессором Ленинградского института филологии и литературы. Эта группа входила в ЛАПП — Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей. То были бурные годы — годы споров и взаимных атак: 1928 и 1929-й. Тогда же, в 1928 году, ЛАПП издал сборник «Голоса против». Майзель — в числе авторов.

Декабрь 1936 года явился началом несчастий для Михаила Майзеля.

Приговором выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 декабря 1936 года ему было определено содержание в тюрьме сроком на 10 лет с последующим поражением в политических правах сроком на 5 лет. Наказание отбывал в Белбалткомбинате (Соловки).

Николай Астахов, бывший секретарь парторганизации завода «Красный путиловец» (ныне Кировский), а затем первый секретарь Володарского райкома партии, с которым мы находились вместе в тюремной камере «Крестов», объяснил что такое Военная Коллегия:

— Привели меня в Большом доме в какой-то пустой зал. За спиной — два архангела, конвоиры, а передо мной — стол на возвышении, на нем — микрофон с проводом, куда-то значит все транслируют, за столом трое военных в высоких званиях с ромбами в петлицах. В центре — председатель Ульрих. И больше никого. Весь суд — минут десять. Уходят на совещание и почти тут же возвращаются. Приговор: к расстрелу... Привели меня после суда в камеру, где еще двое смерт-



Уже канул в небытие «генеральный палач страны» Сталин, а тысячи и тысячи сосланных на вечное поселение в Сибирь все еще не получили паспорта и обладали вместо него вот таким документом

ников — работник Ленинградского обкома партии Буденный и секретарь парторганизации ленинградских писателей Беспамятных. Ну, а там...»

Какая-то зловещая игра велась иногда с теми, кто получал вышку. Астахова заставляли написать прошение о помиловании, он категорически отказывался, говорил: «Вины за мной нет». Тогда за него написал тюремный администратор. Чуть ли не силком осужденного опять притащили в тот же зал и тот же Ульрих громко произнес лживые слова о «пролетарском происхождении» подсудимого и о том, что, «руководствуясь гуманными принципами», смертный приговор заменяется десятью годами заключения.

Сталинская репрессивная система работала, не зная перебоев, но случалось, что она лицемерно маскировала беспощадность показной снисходительностью.

Майзеля судили в том же пустынном зале, и тот же состав, что и Астахова. И вспоминая рассказ Астахова, я могу себе представить хорошо знакомого мне Михаила Гаврило-

вича, который стоит перед лицом этого триумвирата, носящего название «Военная Коллегия Верховного Суда СССР», обвиняющего его ни мало, ни много в терроре, и не ждет ничего, кроме страшных слов: «К высшей мере социальной защиты».

И, наверное, когда услышал слова «содержание в тюрьме», возблагодарил судьбу: она помиловала его, оставила жить, пусть даже за решеткой, за колючей проволокой, но жить!

Однако суд, «скорый и милостивый», как говорилось когда-то в самодержавной России, милость свою сотворил ненадолго. Меньше чем через год зэк Майзель, которому исполнилось 38 лет от роду, был судим вторично. И расстрелян...

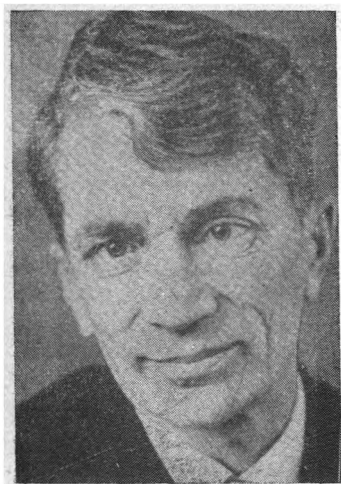
Минули десятки лет со дня вынесения ректору Литуниверситета первого приговора. Потрясенная до самых своих основ страна переживала перемены. Не стало Сталина. Но понадобилось еще три с лишним года, чтобы появился в деле писателя Михаила Майзеля заключительный документ:

«Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 10 ноября 1956 года Майзель М. Г. по данному делу реабилитирован».

В деле Михаила Гавриловича сказано: «жена — Гольдфельф-Карова, Евгения Марковна, 1897 года рождения, проживала с мужем. Падчерица — Карова Ксана Дмитриевна».

Какова их судьба, мы не знаем.

Захар Дичаров



**Николай
Иванович
МАМИН**

1906—1968

Мамин Николай Иванович (подписывался также псевдонимом Николай Ман и Николай Ропчин) (24.X.1906, Балаково, ныне Саратовская область—9.X.1968, похоронен в пос. Беринговский, бухта Угольная, Анадырский залив), прозаик. После окончания школы был учителем, рабочим, год учился в Московском университете. В 1928—1932 годах служил на флоте, был старшиной на «Авроре». Начал печататься в 1929 году в газете «Красный Балтийский флот», затем в журнале «Залп» (рассказ «Турнир гимнов»). В 1936—1943 годах находился в Ухте, в 1944—1949 годах жил в Литве, где участвовал в борьбе с националистическими бандами, в 1949—1957 годах— в с. Мотыгино на Ангаре. В 1958 году переехал в Красноярск. Погиб в одну из поездок на безлюдном берегу Анадырского залива. Остались неопубликованными: «Военное море», «Пуща» (повесть о новой литовской деревне), поэма «Сказание о кронштадтском пушкаре Петре и корабельном коте Мартоне», незаконченная поэма «Субмарина его величества», «Баллада о летучем голландце».

Якобинцы: Рассказы. Л., 1953; Капитан ангарского буксира: Очерк. Красноярск, 1958; Валеркина любовь: Повести. Красноярск, 1959; Знамя Девятого полка: Повесть. Красноярск. 1959 и др. изд.; Горячий цех: Очерк. Красноярск, 1961; Витязи студеного моря: Повесть. М., 1966; Крохальский серпантин; Полевой «цейс»: Повести. Красноярск, 1966; Законы

совместного плавания: Роман. Красноярск, 1967; Крохальский серпантин: Полевой «цейс»; Законы совместного плавания. Красноярск, 1973.

СТРОЕВОЙ СТАРШИНА

С напечатанными в кронштадтской газете «Красный Балтийский флот» стихами Николая Мамина я познакомился раньше, чем с ним самим. И сразу же почувствовал интерес к автору, ведь он был свой, флотский...

В 1930 году мы оба проходили военно-морскую службу на Балтийском флоте и состояли в Литературном объединении Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). Наша группа, которой руководила Раиса Мессер, собиралась в редакции газеты «Красный Балтийский флот» три раза в месяц. Обычно мы обсуждали чьи-нибудь стихи или рассказ и критиковали друг друга жестко, без скидок на дружбу. А потом бродили по вечерним улицам Кронштадта и продолжали читать вслух стихи, делились планами. Как сейчас помню Николая — лихо сдвинутая набок бескозырка, выбившаяся из-под нее на лоб русая прядь волос, глаза горят...

До призыва в армию Мамин успел один год проучиться в Московском университете, поэтому его отправили на курсы командиров запаса. «Я прежде всего строевой старшина, а потом уже писатель», — не раз говорил он, хотя, конечно, уже тогда литература была для него на первом месте в жизни. Служивший с ним старшина Сальников рассказывал мне, что Мамин нет-нет да и вытащит, бывало, из кармана записную книжку и что-то туда строчит...

Хоть память у Николая была превосходная, он всю жизнь записывал понравившиеся чем-либо слова и выражения. И нередко просил собеседников их повторить.

Демобилизовавшись к началу 1932 года, мы с Николаем решили обосноваться в Ленинграде. Он — у своей тетки, а я — у товарищей. Донашиваемая форма делала нас вхожими в краснофлотскую чайную при Екатерининских казармах. Там мы могли обедать без вырезки талонов из продуктовых карточек. С ночлегом, если доводилось за полночь задержаться, осложнений тоже не возникало. У знакомых студентов в общежитии всегда можно было найти свободную койку и растянуться на ней, накрывшись шинелью. Конечно, для литературной работы условия были мало подходящими, но для

Николая быт никогда не играл важной роли. Он мог писать повсюду, где только можно было пристроиться с карандашом и бумагой.

Вскоре в журналах «Ленинград» и «Залп», а также в московском «Знамени» стали появляться его рассказы. Несмотря на это, как и меня, Мамина не оставляло желание «заглянуть за горизонт». Но устроиться на суда дальнего плавания было непросто. Кончилось тем, что я уехал в Архангельск и стал работать в Северном пароходстве. А Коля поступил матросом на портовый буксир в Ленинграде. В первое же ночное дежурство он протер палубу, вымыл с мылом рулевую рубку и до блеска надраил рынду — судовой колокол.

— Зря это, парень, — сказал приятно удивленный капитан. — У нас так не работают.

Сообразив, что до «загранки» здесь не дослужиться, как ни старайся, Мамин однажды не вышел на работу и вновь засел за рассказы.

Он был уже женат, и я, в свои наезды в Ленинград, приходил теперь к нему на улицу Эдисона (Яблочкова). В большой, с венецианским окном комнате над письменным столом Николая висел катерный флаг «Авроры», на которой он служил, и карта Балтийского моря. На столе стояли фотографии кораблей, лежала латунная боцманская дудочка, финский нож с инкрустацией.

Работал Мамин много. К весне 1935 года должен был выйти из печати уже второй сборник его рассказов и очерков «Военное море». И вдруг ветер удачи, надувавший его паруса, переменял направление. Из присланного Колей письма я узнал, что он, не согласный с сокращениями и редакторской правкой, неожиданно вспылал и такого наговорил в издательстве «Молодая гвардия», что самому потом стыдно было. В результате сборник «зарезали» совсем, а на президиуме Союза писателей за хулиганство ему вкатили строгий выговор с предупреждением.

В конце 1936 года я получил от Мамина еще одно письмо. Он сообщал, что ездил в Москву и литературные дела, вроде, поправляются. И все — больше никаких известий от него не было. Я начал беспокоиться, а в Ленинград, как назло, vybrаться все не удавалось и не удавалось. Пришлось дать Колин адрес ехавшему в Ленинград знакомому и попросить его зайти узнать, что стряслось, почему он молчит.

Дверь открыла соседка и сказала, что Николай Мамин арестован.

Восемь лет отсидел он в лагере в Котласском районе, осужденный по 58-й статье. И все эти годы, чтобы ненароком не навредить друзьям, Мамин не писал никому.

Ни в Ленинграде, ни в Москве после освобождения из заключения Николай не имел права жить. Он устроился во Владимирской области и, немного оглядевшись, решил заняться налаживанием литературных связей. Добираться до столицы ему пришлось на попутных машинах, потому что билеты на поезда в те годы продавались только командировочным. Его тепло встретили Леонид Соболев и старые локафовцы — Либерман и Ян Калнынь, а Николай Семенович Тихонов подарил Мамину свою книгу с надписью: «Николаю Мамину на новый поэтический путь».

Был Коля, конечно, и у моих родителей, которые тотчас же дали мне телеграмму: «Привет от Коли Мамина». Переписка моя с другом, прервавшаяся десять лет назад, снова возобновилась. Я с радостью узнал, что вдохновленный встречей с товарищами, Николай опять много работает и, возможно, скоро из печати появится его новая повесть «Витязи студеного моря». А потом — что знакомый по лагерю уголовник, «увел» у него в поезде чемоданчик, где была эта повесть, и стихи, и различные записи, начиная с 1938 года.

«Если бы не это мое очередное злосудное заключение, — писал мне Николай, — я был почти счастлив». Восемнадцать дней прожил он у моих родителей в Москве «ни о чем не думая, имея письменный стол, зеленый абажур и шамовку...». А переодевшись из старья в мой костюм и шинель, почувствовал себя «куда увереннее среди литературных и прочих бюрократов».

К сожалению, хотя его и восстановили в Союзе писателей, прописаться в Москве все равно не удалось. И Мамин решил ехать в Литву, к Марии Сухотской, с которой был в лагере.

Казалось, жизнь опять стала понемножку налаживаться. Пусть не так, как думалось вначале, пусть с другой стороны, однако Николай снова отыскивает свое место в литературе. Закончив повесть о литовской деревне — «Пушу», он привозит ее в 1949 году в Ленинград, сдает сокращенный вариант в журнал «Звезда», заключает договор с Лениздатом. Через несколько дней он собирался ехать обратно в Литву. В самом благодушном настроении он вышел как-то из Дома книги... К нему шагнули двое мужчин:

— Николай Иванович? Пройдемте...

На этот раз ему не предъявляли никаких обвинений, просто отправили этапом в Сибирь, в Красноярский край. О литературе опять надо было забыть. Печатать его не станут...

Мамин попал в Удере́йский золотопромышленный район. Вначале устроился рабочим в геологическую партию. Потом перебрался в старинное старательское поселение на берегу Ангары — Мотыгино. По дороге туда он встретился с местной ангарской рыбачкой Машей. Больше они не расставались. Вместе валили лес, работали на автозаправке.

«В маленькой комнатенке у тещи, — пишет мне Николай, — нас пятеро да еще шесть кур. Посмотрел бы я на того Симонова, который в такой обстановке поработал бы... Зимой мы с Машей хворали и я почти ослеп на левый глаз. Ходил как старик с палочкой, ощупывая дорогу. И все же две повести о Сибири готовы. Нужны деньги. Двести рублей должен прислать ты, а триста — мачеха. Выживу — отдам с любимыми процентами».

И — отдал. Конечно, без всяких напоминаний с нашей стороны.

После смерти Сталина надзор за ссыльными ослаб, появилась возможность устроиться на более квалифицированную работу, а главное — надежда на пересмотр дела... Николай стал работать внештатным корреспондентом в местной районной газете. В 1956 году, получив справку о реабилитации, он просит Красноярскую писательскую организацию направить в Москву ходатайство о восстановлении его в Союзе писателей. А я хлопочу в Литфонде о том, чтобы ему выслали положенное пособие.

Судя по письмам, Николай работает запоем.

В 1957 году мне удалось наконец получить назначение на одно из судов, идущих на Енисей. В тот период я занимался проводкой судов по Северному морскому пути из Архангельска на сибирские реки. В один из ясных сентябрьских дней, сдав доставленное к месту назначения судно, я направился в Мотыгино. Это село находится вверх по Ангаре, в 120 километрах от впадения ее в Енисей.

Мы не виделись с Маминым опять около восьми лет!

Николай был худощав, чтобы скрыть отсутствие зубов, опустил усы. Но в сущности не изменился.

Пробыв пару дней в Мотыгино, мы выехали в Красноярск — Мамин был приглашен на совещание литераторов в Новосибирск. Хотя в плавучей гостинице в Красноярске уже и были заказаны места, Николай потащил меня в Союз писателей, уверяя, что там будет спокойнее. Трое суток я спал

на каком-то маленьком диванчике в одном из кабинетов. А Коля на ночь составлял себе рядом несколько стульев. Но таким уж он был!..

Получив наконец возможность полностью отдаться любимому делу, оставаться в Мотыгино Николай не мог. Мало того, что от этого глухого таежного села до Красноярска было около полутысячи километров. Каждую весну, пока не заканчивался на Ангаре ледоход, и каждую осень, пока река надежно не вставала, связь с Мотыгино прерывалась недели на две, а то и больше.

Жизнь опять резко менялась. Николай купил под Красноярском, в селе Лукино, большой, срубленный из добротного леса дом. Из удобств там было, правда, лишь электричество, но Маше не привыкать было и по воду ходить, и печи топить!..

Чтобы работать, Николай отказывался от многого. Он не просиживал вечера напролет перед телевизором, редко бывал в кино и в театре, летом не ходил ни купаться, ни загорать. Не мог он отказаться только от одного — от человеческого общения. Его дом всегда был открыт для односельчан, охотников, рыбаков и просто для любителей дармовой стопки водки. От них ведь тоже иногда можно услышать что-нибудь интересное!..

Изданы были и разошлись уже в Москве и Красноярске «Знамя девятого полка», «Златые горы», «Валеркино счастье». Готовились к печати в издательстве «Витязи студеного моря».

Почти ежегодно после арктического плавания, возвращаясь по Лене или по Енисею, я заезжал к Мамину в Красноярск. Мы отводили душу, вспоминая Кронштадт и нашу молодость, или отправлялись в гости: то к енисейскому барду Игнатию Рождественскому, то к Ивану Михайловичу Назарову, сочетавшему в себе талант руководителя крупного пароходства и бытописателя. А иногда ездили к горе на правом берегу Енисея, которая оканчивалась отвесной скалой Токмак, памятной мне с мальчишеских лет!..

Чтобы не связываться с общественным транспортом, Николай купил мотоцикл. Как уж ему удалось провести врачей и автоинспекторов не знаю. Ведь он почти не видел одним глазом и был дальтоником.

На дорогах в те времена нередко пошаливали, и Николаю очень хотелось иметь пистолет. Память его сохранила надежную тяжесть нагана на бедре, когда он старшиной заступал в вооруженный наряд. Однако нарезное оружие писателю, даже гонящему в ночное время по дорогам края, иметь не

разрешалось. Пришлось мне подарить другу сигнальную ракетницу. Коля уверял, что ему дважды удалось благодаря ей избавиться от приставших на шоссе хулиганов.

Все было бы хорошо, но у Мамина осложнились отношения с Машей. Чувствуя, что Николай стал каким-то другим, и не понимая, что произошло, она начала закатывать ему такие скандалы, что он по нескольку дней не мог работать. Еще в Мотыгине Коля боялся, что так может произойти. Его сомнения надежды вылились в поэму «Как кошка стала человеком». Он описал в ней художника, который, скитаясь по миру в образе «худого лохматого барбоса», встретился с рыженькой кошкой и они привязались друг к другу. Но пришло время, когда пес стал человеком, а кошка так и осталась кошкой. Загрустил художник. И стал просить Бога превратить его пушистую подругу тоже в человека.

Ужели не дашь моей Муре достойный души ее образ?
Пусть люди глядят себе косо. Тебе же смысл истинный
важен.
А нет — я останусь барбосом. Не нужно мне милости
Вашей.
Пожалуй, он прав, — сказал Боже. — Не дело ему ее
бросить.
И, пусть ход такой не положен, дадим ему, Паша, что
просит.
И вот они в городе нашем, художник во сказочном мире,
С женой своей, рыженькой Машей, привезенной им из
Сибири.

К сожалению, так не получилось. Вскоре я получил от Мамина письмо, где он сообщал, что они с Машей «устало и мирно» расходятся.

Летом 1968 года из Архангельска Северным морским путем готовился очередной перегон судов на сибирские реки и небольшой группы через Берингов пролив на Дальний Восток. Я был капитаном одного из судов этой группы — «Печорской», и предложил Николаю отправиться со мной в рейс. Он ответил, что согласен и прилетит на Диксон, где наш караван будет ждать благоприятной ледовой обстановки, чтобы следовать дальше. Западный сектор Арктики был ему знаком — там он уже плавал.

Предстоящий рейс был интересным для нас обоих. Я отдал Мамину каюту второго помощника, чтобы он мог спокойно работать. Николай не был праздным пассажиром, и,

как всегда, быстро вошел в судовую семью. Он часто становился на руль, как-то ночь напролет простоял палубную вахту (на стоянке), дав возможность отоспаться двум матросам после штормовой погоды.

В 20-х числах сентября мы благополучно обогнули мыс Дежнева. Погода стояла ясная, и вдаль были хорошо видны высокие острова, между которыми проходит наша государственная граница с Соединенными Штатами Америки.

Из бухты Провидения три речных грузотеплохода последовали вдоль побережья в свой порт — Анадырь. Но остальные суда, и нас в том числе, капитан порта задержал. На юг надо было спускаться открытым морем, а приближался сезон осенне-зимних штормов. Николай стал нервничать — ему не хотелось терять время. Он был готов пересечь на любое, идущее во Владивосток, судно, но тут нам разрешили наконец переход.

Получив благоприятный прогноз погоды, 5 октября наша группа легла курсом на мыс Наварин через Анадырский залив. Но уже на другой день небо затянули тяжелые тучи, атмосферное давление стало падать, и к ночи разразился жестокий шторм.

Пытаясь укрыться под берегом, наша группа по решению начальника экспедиции изменила курс. Однако показания магнитного компаса на сильной качке неустойчивы, а управляемость судна ухудшается. Хотя по характеру зыби мы поняли, что вышли на малые глубины, отвернуть в море не удалось. Послать же людей на бак, отдать якорь, было рискованно — их могло унести в клочотавшую за бортом пучину. В результате «Печорскую» вынесло на галечную отмель, а буксирный теплоход «Восток» наскочил на подводную скалу и получил пробоину.

«Вообще-то ночью было страшновато, — писал Мамин, — валяющий с ног ветер, волна такая, что все летит и бьется. В кают-компании по битым тарелкам и рассыпавшемуся сахарному песку носятся обезумевшие кресла — крен доходит до 40° (в жизни ничего такого не видел, меня чуть не выбросило из койки). Неожиданно налетел снежный заряд такой густоты, что сразу ослепил и рулевого и кэпа, и мы не могли в этом свистящем аду определить свое место и потеряли в пурге огни переднего судна.

А сейчас временами ревет накат, днище со скрипом бьет по гальке, но мы еще счастливы. У нас тепло и тихо. А вот на буксире „Восток“ пробоина, вода в машине и люди замерзают...»

Во второй половине дня 7 октября из Анадыря прибыл вызванный спасатель — мощный буксир «Диомид». Он встал поодаль от берега на якорь и дал указание всех людей эвакуировать. Мамин категорически отказался покинуть судно, ведь на другой день утром должно было начаться самое интересное — стаскивание «Печорской» с мели. Спасатель продолжал настаивать на эвакуации, утверждая, что идет глубокий циклон, стаскивать нас завтра утром все равно не будут, а «Печорскую» может разломать...

8 октября в предутренней мгле показался портовый катер. На нем меряли глубину, но подойти к нам не решались. Мелко.

— Торопитесь оставить судно, — крикнули с него, — иначе вас не пропустит по берегу накат!

Не знаю почему, но мне не пришло в голову переправиться с людьми на катер на нашей шлюпке. И теперь это лежит у меня бременем на душе. Возможно, все мы подсознательно ориентировались уже на метеостанцию, к которой, высадившись на берег, должны были идти. Приморские станции располагаются обычно недалеко от берега, но их может быть не видно.

Высадка со шлюпки прошла благополучно. У Николая поверх свитера была надета кожаная курточка, в руках он держал портфель с рукописями и свернутым костюмом. Мы бодро тронулись в указанном направлении и минут через сорок подошли к реке.

Она впадала в море двумя рукавами, образуя на отмели общий широкий разлив. Временами налетали дождевые шквалы. Ни на этом берегу, ни на противоположном никаких признаков метеостанции видно не было.

— Сказано было перейти речку и следовать по правому берегу, — сказал радист.

Глубина была лишь по колено, но в некоторых местах, на быстрине, вода захлестывала в сапоги, поэтому мы промокли и сверху и снизу. Холод сразу же стал ощущаться сильнее. Однако Николай от предложенного ему полушубка отказался — впереди сопка, тяжело будет идти...

За сопкой метеостанции не оказалось. Перекусив холодными консервами, мы побрели дальше. Неожиданно река опять разделилась на два рукава. Куда идти? Вокруг по-прежнему не было видно никаких признаков жилья. Посоветовавшись с товарищами, я решил возвращаться обратно на судно.

Молодежь ушла вперед. Я, Коля, радист и старший механик следовали позади. Все уже порядком устали. Когда снова перевалили сопку, начало смеркаться. О том, чтобы искать брод через реку впотьмах, не могло быть и речи. После долгих усилий нам удалось наконец разжечь из наломанных у кустов веток небольшой костерок. Но его скудного тепла едва хватило, чтобы согреть руки. Достав из портфеля костюм, Николай надел пиджак под куртку, а брюки намотал на голову.

— Положение наше безнадежно, — сказал он вдруг. — Давай попросаемся, пока в сознании...

— Что ты, — отвечаю. — В блокаду Ленинграда положение тоже казалось безнадежным, но я, отбывая в море, ни с кем не прощался.

Ночь тянулась бесконечно. Чтобы скоротать время, мы пытались вспоминать флот, друзей, читали стихи. Наконец стало светать. На том берегу реки начали проступать предметы и вскоре уже можно было различить, что там — люди. Мы стали кричать, спрашивать, где брод.

Человеческие фигурки махнули назад, вверх по реке. Очевидно, вчера, когда уже стало смеркаться, мы проскочили то место. Вернувшись, обнаруживаем на берегу брошенный накануне старшим механиком спасательный жилет. Здесь!

Сегодня воды в реке значительно больше, чем вчера — уровень ее выше сантиметров на тридцать-сорок. Николай споткнулся и, хотя старший механик тут же его подхватил, успел вымокнуть полностью...

Проламывая молодой ледок, мы выбрались наконец на берег. Теперь спасти нас могла только быстрая ходьба. Но довольно крутой склон весь в осыпях плитняка и передвигаться тяжело. Мы растянулись цепочкой. Старший механик уходит вперед, а Коля начинает отставать. Я то и дело останавливаюсь, поджидая его. За поворотом реки открывается скала. Очевидно, прибывшая вода затопила прибрежную полосу, по которой мы вчера проходили, и теперь надо либо идти рекой, либо лезть наверх, обходить скалу. Оглянувшись назад, я вижу, что Коля совсем отстал. Возвращаемся с радистом к нему и, взобравшись все вместе на пригорок, пытаемся развести костер. Но отсыревший плавник не загорается.

Радист ушел на разведку, может быть, где-то неподалеку все же есть метеостанция, а мы с Николаем лежим на пригорке. Оттуда видно, что на море опять надвигается шторм.



Длинные валы несутся как поезда, и рев моря становится все грознее.

— Сашка! Надо идти к судну! — вскакивает вдруг Николай. Глаза его лихорадочно блестят.

— Шторм. Теперь нас не пропустит прибой.

— Не пойдешь — пойду один!

— Ну, тебя одного я, конечно, не пушу. Пойдем уж оба...

Мы спустились к реке, прошли немного битым плитняком, и у Коли так же резко, как подъем, наступил упадок сил. Он опустился на землю.

— Идем, — уговариваю я его. — Идем, раз уж пошли. Старшему механику шестьдесят пять, а он прошел...

— Он в тюрьме не сидел.

— Идем. Если не вперед, так назад, на пригорок. Может, удастся костер развести. Идем, а не то я тебя ругать стану, и даже бить...

— Пойми, это не недостаток мужества, просто сил нет.

Понадеявшись, что метеостанция рядом, мы не стали обременять себя лишним грузом. Чем помочь? Раздеть Николая и начать растирать? А переодеть во что? Даже укрыть нечем. И ни капли спиртного...

Вернулся радист. Вместе с ним мы пытаемся втащить Николая обратно на пригорок. Но сил нет. Тогда, оставив Колю, с трудом поднимаемся на бугор сами и опять пытаемся раз-

жечь костер. Но спички отсырели тоже, даже бумагу не поджечь.

Радист спускается проведать Мамина. Через четверть часа возвращается:

— Николай Иванович умер.

Никогда не забуду я этот нескончаемый день. Стужу, от которой, казалось, должно было погибнуть все живое. Черные краюхи волн, несущиеся с диким воем на море, и закоченевшего внизу, под пригорком, Колю, которому мы оказались бессильны помочь.

Похоронили Мамина в поселке Беринговском. Медицинское заключение гласило, что смерть наступила от общего переохлаждения организма. Дневник Николая и его последняя, написанная на «Печорской» повесть «Котелок меду», были доставлены его вдове в Красноярск.

Я полтора месяца пролежал в больнице — отморозил ступни ног, а радист долго лечил простуженные суставы.

В августе 1986 года я получил от журналиста А. Голдобина письмо. Восемнадцать лет назад он плавал на «Печорском» матросом и знал Мамина.

Голдобин писал, что побывал в поселке Беринговском. Зашел и на кладбище, но могилы Николая Ивановича найти не мог. Наконец, встретившаяся ему там женщина после долгих сомнений указала на покосившийся обелиск. Надпись на нем разобрать было невозможно. Время, ветры, дожди и снег сделали свое дело.

Александр Алексеев-Гай



**Осип
Эмильевич
МАНДЕЛЬШТАМ**

1891—1938

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938), русский советский поэт. Родился в Варшаве в семье купца. Учился на романо-германском отделении петербургского университета. Начал печататься в 1910 году. Первая книга стихов — «Камень» (1913; второе дополненное издание, 1916); «Триствия» (1922); «Вторая книга» (1923); «Стихотворения» (1928); циклы «Армения» (1931); «Воронежские тетради» (1966); автобиографическая проза: «Шум времени» (1925); «Египетская марка» (1928).

Автор ряда статей, очерков, переводов.

Неоднократно подвергался незаконным репрессиям органами госбезопасности. Погиб в концлагере на Дальнем Востоке в декабре 1938 года.

Посмертно реабилитирован.

ОРФЕЙ В АДУ

В этой статье я расскажу о роли и месте Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938) в русской трагедии XX столетия. Ныне, когда XX век подходит к концу, стало отчетливо видно, что он в истории России был глубоко трагическим веком, и этот его трагизм нашел многообразное художественное отражение в русской литературе, особенно в поэзии. Русские поэты не написали трагедий на современном материале (очевидно, это дело будущего); трагизм в их творчестве имеет

прежде всего лирический характер, ибо многие из них лично прошли и пережили крестный путь русской жизни. Запечатлели они и те стороны общенародной трагедии, с которыми соприкоснулись сами, в результате чего в творчестве чуть ли не каждого большого поэта появились не только лирикодраматические стихи, но и лирические драмы, драматические поэмы, поэмы-трагедии, поэмы-мистерии, трагедийный эпос.

Русскую трагедию XX столетия напророчили Достоевский и Вл. Соловьев, а ростки ее есть в творчестве Д. Мережковского и З. Гиппиус, Ф. Сологуба и Инн. Анненского, Вяч. Иванова и А. Белого. В «серебряном веке» русской поэзии наиболее глубоко и масштабно развитие и нарастание русской трагедии художественно воплотил А. Блок. Идя, по его словам, «из лирики — к трагедии», он через драматизацию лирики пришел к созданию лирических драм и гениальной поэмы-трагедии «Двенадцать», запечатлевшей трагический характер «русского строя души» в революционную эпоху и напророчившей крестный путь нашего народа после Октября...

В 30-е годы начинается кульминационный акт русской трагедии, связанный с невиданным в мировой истории государственным террором против собственного народа, с массовым нисхождением в ад, в земную преисподню сталинской инквизиции, в архипелаг ГУЛАГ. В первых рядах этого трагического шествия были поэты Н. Клюев, О. Мандельштам, А. Ахматова, С. Клычков, П. Васильев, Н. Заболоцкий, Б. Корнилов, А. Гастев, О. Берггольц, В. Нарбут, Д. Хармс, П. Орешин, В. Кириллов, М. Герасимов, Н. Олейников, А. Венденский и многие другие.

В годы Великой Отечественной войны в связи с начавшимся возрождением национального самосознания личности и народа, наиболее глубоко и масштабно запечатленного в поэзии А. Твардовского и О. Берггольц, появилась надежда на выход из предвоенного ада, однако еще в течение почти целого послевоенного десятилетия народу не хватало сил и решимости сделать хотя бы попытку вырваться с того света. Только в период хрущевской оттепели герой трагедийно-сатирической поэмы Твардовского «Геркин на том свете» смог совершить подвиг, не уступающий по своей исторической значимости подвигу военных лет: вырваться живым из царства мертвых с его загроббюро, сетью и системой казарменного социализма, военным отделом во главе с Верховнокомандующим, расплодившимися чиновниками-дураками и т. д.

Одним из первых среди поэтов в дантовский ад современности решительно шагнул в роли нового Орфея Осип Ман-

дельштам. Его трагические переживания, в отличие от переживаний других русских писателей, причастных к крестному пути России, имели не столько христианский, сколько орфический характер. Что это означает? Б. Пастернак, говоря об особенностях романтического мировосприятия Блока, Маяковского и Есенина, писал в «Охранной грамоте»: «Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие, Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно пришло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представленье владело Блоком лишь в течение некоторого периода. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэта романтическое миропониманье покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки».

Исторически орфизм как религиозно-философское мировосприятие, родившееся в VI веке до нашей эры, предшествует христианству и генетически родственен ему, но не содержит в себе христианских представлений о трагизме, страдании и искуплении вины. Христианское мировосприятие оказало большое влияние на различные формы романтического мировосприятия, причем не только на Блока и других символистов, но и на футуриста Маяковского, лирические двойники которого в его дооктябрьском творчестве и в поэме-трагедии «Про это» похожи на Христа. Не остался чужд, несмотря на определенное внутреннее сопротивление, романтико-христианскому мировосприятию и Пастернак, прежде всего в своих стихотворных молениях о чаше — «Рослый стрелок, осторожный охотник...» (1928), «Гамлет» (1946) и других. А вот романтическое мировосприятие Есенина, развиваясь в сторону христианского пантеизма, осталось в основном орфическим.

Глубоко индивидуальным, во многом не похожим на есенинское, было орфико-романтическое мировосприятие Мандельштама. Если орфизм Есенина вырастал из пантеизма, из трагедийного преображения природного начала в человеке, то орфизм Мандельштама вырастал из античных корней европейской культуры с ее устремленностью к небу и звездам,

к свету духовного преображения. Мандельштама можно назвать новым Орфеем в том смысле, что его трагедийная лирика претворяла в стихи, в музыку слова, в живой и неповторимый голос поэта многовековое наследие европейской культуры, делала это наследие живым и органическим достоянием русской поэзии и культуры.

В этой связи уместно привести суждение Иосифа Бродского о том, что «Мандельштам является поэтом формы в самом высоком смысле слова. Для него стихотворение начинается звуком, „звучащим слепком формы“, как он сам называл его. Отсутствие этого представления низводит даже самую точную передачу мандельштамовской системы образов до будоражающего воображение чтива. «Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет», — говорит Мандельштам в «Четвертой прозе».

Характеризуя своеобразие поэтического голоса Мандельштама для зарубежных читателей, Бродский далее отмечал, что «англоязычному миру только предстоит услышать этот нервный, высокий, чистый голос, исполненный любовью, ужасом, памятью, культурой, верой, — голос, дрожащий, быть может, подобно спичке, горящей на промозглом ветру, но совершенно неугасимый. Голос, остающийся после того, как обладатель его ушел. Он был, невольно напрашивается сравнение, новым Орфеем: посланный в ад, он так и не вернулся, в то время как его вдова скиталась по одной шестой части земной суши, прижимая кастрюлю со свертком его песен, которые заучивала по ночам на случай, если фурии с ордером на обыск обнаружат его. Се наши метаморфозы, наши мифы»¹.

Нисхождение нового Орфея в ад началось с необычного для поэтики Мандельштама сатирического стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» (1933), направленного против Сталина. Оно стало причиной первого ареста поэта, последовавшего 13 мая 1934 года, и привело его в конце концов к гибели в лагере под Владивостоком 27 декабря 1938 года. Вот это роковое стихотворение:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

¹ Бродский И. Сын цивилизации. — Звезда, 1989, № 8, с. 194, 195.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей,

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,

Как подковы, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина.

Этому роковому шагу, который делал Мандельштама, если говорить словами Ахматовой, подлинно «трагической фигурой»¹, предшествовал длительный и напряженный диалог поэта с послеоктябрьским временем, с «веком-волкодавом». Началом этого диалога можно считать стихотворение 1918 года «Прославим, братья, сумерки свободы...». Известный ныне поэт Борис Чичибабин к 100-летию Мандельштама писал об этом стихотворении: «Сегодня среди части моих соотечественников появилась тенденция отречься от Октябрьской революции, выскабливать ее со страниц русской истории как ошибку, вкравшуюся туда извне и навязанную народу. А вот Мандельштам, по характеру своего дара никогда не писавший так называемых гражданских стихов, но чувствовавший себя в истории, как рыба в воде, помнивший, что в России были декабристы, Герцен, народovolьцы, давший в стихах клятву на верность «четвертому сословию», то есть народу, приветствовал эту революцию классической одой «Сумерки свободы». К сожалению, тот читатель, на которого надеялся, о котором мечтал поэт, этой оды не прочел и не услышал. Ее оценили немногие близкие друзья, поэты, литературоведы, любители поэзии; в последующие годы она была забыта, и о ней не вспоминали. Не собираясь никому навязывать своего суждения, я нахожу в этой небольшой четырехстрочной оде больше чутья, достоинства и смысла, чем в знаменитых «Двенадцати» Блока. Это не восторг, не надрыв, не мистические пророчества, это мужественное и траге-

¹ Ахматова А. Страницы прозы. М., 1989, с. 28.

дийное приятие событий, мрачных, грозных и непредсказуемых: «Прославим, братья, сумерки свободы, великий сумеречный год!.. Восходишь ты в глухие годы — о солнце, судия, народ. Прославим роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет... Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля... Мужайтесь, мужи... Мы будем помнить и в летейской стуже, что десяти небес нам стоила земля»¹.

Б. Чичибабин прав, говоря о значительности этого стихотворения Мандельштама, но при этом вряд ли стоило эту значительность гиперболизировать за счет умаления и непонимания гениальной поэмы-трагедии Блока «Двенадцать», показавшей не только трагизм «свободы без креста» и без Христа, но и предупредившей о крестном пути нашей послеоктябрьской жизни. Эта ода, а точнее — «гимн», как она была озаглавлена в первой публикации, необычна тем, что в ней прославление Октябрьской революции неотделимо от ее почти что обличения, принятие революционной стихии от видения ее негативных сторон. Революцию поэт воспринял двойственно, в ее трагедийной контрастности. Каждое положительное определение дополняется непременно отрицательным: «великий сумеречный год»; народ одновременно и солнце, и судия; прославляется «власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет»; годы революции «глухие», корабль времени «ко дну идет», поворот революционного руля, «огромный, неуклюжий, скрипучий» и, наконец: «Мы будем помнить и в летейской стуже, что десяти небес нам стоила земля». Здесь новый Орфей впервые предошутил «летейскую стужу», адский холод грядущих 30-х годов.

Из первоначального трагически-двойственного отношения Мандельштама к революции вырос его драматический диалог со своим временем, который получил поэтическое воплощение в таких стихотворениях (называю основные для любителей поэзии, желающих самостоятельно разобраться в них), как «В Петербурге мы сойдемся снова...» и «Чуть мерцает призрачная сцена...» (в этих стихотворениях 1920 года упоминается Орфей и Эвридика, навеянные оперой Глюка «Орфей»), «Концерт на вокзале» (1921), «Век» (1922), «Грифельная ода» (1923), «1 января 1924», «Нет, никогда, ничей я не был современник...» (1924), цикл «Армения» (1930), «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (1930), «Мы

¹ Чичибабин Б. «Всех живущих прижизненный друг». Правда, 1991, 15 января, № 13.

«с тобой на кухне посидим...» (1931), «С миром державным я был лишь ребячески связан...» (1931), «Я скажу тебе с последней прямою...» (1931), «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931), «Жил Александр Герцович...» (1931), «Сохрани мою речь...» (1931), «Фазтонщик» (1931), «К немецкой речи» (1932) и других, подводящих непосредственно к сатире на Сталина «Мы живем, под собою не чуя страны...»

В этих стихотворениях Мандельштам все острее и нестерпимее чувствовал усиление гнета современной действительности и власти на творческую свободу личности, на человека вообще, и всей песенной силой нового Орфея стремился противостоять наступлению царства небытия. В 1931 году, когда поэтическое сопротивление Мандельштама надвигающемуся мраку сталинского ада достигает высокого напряжения, он пишет знаменитое стихотворение о «веке-волкодаве»:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей,
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Поэт и переводчик Семен Липкин, знавший Мандельштама, пишет: «Мне кажется, что не все понимают как следует это гениальное стихотворение. В двойчатке „век-волкодав“ часто видят враждебное, бичующее отношение к веку. Это не так. Мандельштам с его волшебным чувством слова, Мандельштам-„смысловик“, разумеется, знал, что волкодав — помощник, любимец чабана, защищающий стадо от хищников, — я сам мог в этом убедиться на Северном Кавказе и в Киргизии. Мандельштам хотел только одного: чтобы век-волкодав понял, что он, поэт, не волк по крови своей. Таков глубинный смысл этого стихотворения. Некоторые критики

весьма поверхностно судят об отношении Мандельштама к своему времени, к веку. Он ощущал себя не в прошлом, даже не в настоящем, а в будущем. Он утверждал, что только равный его убьет, а кто был ему равен?»¹

Такая трактовка «века-волкодава» вряд ли соответствует стихотворению Мандельштама. С. Липкин прав, говоря о том, что отношение поэта к своему времени не было однозначно враждебным: он и любил современную жизнь в разных ее проявлениях, чувствовал с ней неразрывную связь, но в образе «века-волкодава» поэт все-таки выразил не буквальное значение слова «волкодав», как его понимают чабаны, а дал метафорическое представление о звериной, жестокой и кровавой сущности своего времени, от которой ему хотелось бы укрыться в Сибири, на Енисее, как в свое время Лермонтов пытался укрыться «за стеной Кавказа» от российских пашей, «от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Только время Мандельштама было более жестоким и кровавым, чем время Лермонтова. «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи, ни кровавых костей в колесе», Мандельштам хочет спрятаться в Сибири, которая представляется ему в сказочно-романтическом виде, чем-то вроде есенинской Инонии, но в мандельштамовском духе: «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе, уведи меня в ночь, где течет Енисей и сосна до звезды достает...». Как поэт романтического, орфического склада Мандельштам шел в преисподню с лицом, запрокинутым вверх (его характерная поза), к небу и звездам, к высотам человеческих идеалов «грядущих веков». При этом поэт не отрывался ни от прошлого, ни от настоящего, а духовно концентрировал в себе все лучшее из их культурного наследия, из их гуманистических устремлений. А устремленность к романтическим идеалам неизбежно сталкивается с жестокой действительностью, рождая в судьбах и душах людей драматические и трагедийные коллизии. Трагическим парадоксом обернулось и стремление Мандельштама укрыться от «века волкодава» в Сибири: в конце 1938 года он настигнет поэта в лагере под Владивостоком и убьет его.

Решительный шаг навстречу своей гибели поэт сделал, как я уже отмечал, в 1933 году, написав антисталинскую сатиру «Мы живем, под собою не чуя страны...». «Это была безумная отвага или неслыханное безрассудство»², — пола-

¹ Липкин С. Поэт и век. — Литер. газ., 1991, 16 января, № 2, с. 11.

² Амлинский А. «Прославим, братья, сумерки свободы». — Комсом. правда, 1991, 15 января, № 10.

гает А. Амлинский. На самом деле это был внутренне подготовленный обдуманый и мужественный шаг трагического героя, который уже не мог больше молчаливо и бездейственно переносить власть тирана. При этом Мандельштамом двигало не только чувство личной социальной загнуанности как поэта, но и репрессии государства против крестьянства. На допросе он признавался: «В 1930 году в моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой репрессии является ликвидация кулачества как класса.

Мое восприятие этого процесса выражено в моем стихотворении «Холодная весна» — прилагаемое к настоящему протоколу допроса и написанное летом 1932 г. после моего возвращения из Крыма. К этому времени у меня возникает чувство социальной загнуанности, которое усугубляется и обостряется рядом столкновений личного и общественно-литературного порядка»¹.

Думается, что внутренние побуждения Мандельштама при написании стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» довольно верно уловил Никита Струве, который писал: «Сочинить стихи о Сталине было недостаточно, предстояло их како-то обнародовать. Послать их редакторам журналов означало прямое самоубийство. Сохранить их для себя значило отказаться от подвига. Мандельштам, предохраняя свою свободу, выбрал средний путь. Он прочел стихотворение десяти (двадцати?), но верным друзьям, тем самым оставляя себе шанс на спасение. Не сказал ли он Анне Ахматовой как раз в начале 1934 года: «Я к смерти готов»? Малейшая неосторожность со стороны одного из друзей могла стать роковой»².

Однако Мандельштам в тот решающий момент не боялся рока, бросал ему вызов и делал шаг навстречу ему. Но И. Бродский считает: «Было бы упрощение полагать, что именно стихотворение против Сталина навлекло гибель на Мандельштама. Это стихотворение при всей его уничтожающей силе было для Мандельштама только побочным продуктом разработки темы этой не столь уж новой эры. По сему поводу есть и в стихотворении „Ариост“, написанном ранее в том же году (1933), гораздо более разящая строчка: «Власть отвратительна, как рука брадобрея...» Были также

¹ Шенталинский В. Улица Мандельштама. — Огонек, 1991, № 1, с. 18.

² Струве Н. Великий вызов. Из книги «Осип Мандельштам». — Невское время, 1991, 15 января, № 7.

и многие другие. И все же я думаю, что сами по себе эти пощечины не привели бы в действие закон уничтожения. Железная метла, гулявшая по России, могла бы миновать его, будь он гражданский поэт или лирический, там и сям сующийся в политику. В конце концов, он получил предупреждение и мог бы внять ему подобно многим другим. Однако он этого не сделал потому, что инстинкт самосохранения давно отступил перед эстетикой. Именно замечательная интенсивность лиризма поэзии Мандельштама отделяла его от современников и сделала его сиротой века, «бездомным всесоюзного масштаба». Ибо лиризм есть этика языка, и превосходство этого лиризма над всем достижимым в сфере людского взаимодействия всех типов и мастей и есть то, что создает произведение искусства и позволяет ему уцелеть. Вот почему железная метла, чьей задачей было кастрировать духовно нацию, не могла пропустить его.

Это был случай чистой поляризации. Песнь есть, в конечном счете, реорганизованное время, по отношению к которому немое пространство внутренне враждебно. Первое олицетворялось Мандельштамом, второе сделало своим орудем государство¹.

И. Бродский прав, считая, что причина гибели Мандельштама глубока и экзистенциальна, что она не сводится к простой стихотворной пощечине тирану, но он явно недооценил значимости сатиры на Сталина как трагедийного поступка нового Орфея, как первого шага трагического героя навстречу своей неизбежной гибели в поединке яркой и неповторимой индивидуальности с тоталитарной государственностью, олицетворенной в Сталине. Да, сатира — не оружие Мандельштама, да, он не стремился своими стихами постоянно вмешиваться в политику, заниматься и дальше обличениями тирана и существующего государственного строя: позднее поэт напишет о Сталине хвалебные стихи², и не только от естественного страха за свою жизнь, но и от того, что отнюдь не в обличении кого-то и чего-то видел смысл своей творческой деятельности. Памфлет против Сталина был необходим Мандельштаму как первый и неповторимый по своему смыслу шаг трагического героя, как вызов певца, в лирических песнях которого бьют ключи жизни, тому царству мертвых и небытию, которые стоят за спиной тирана.

¹ Бродский И. Сын цивилизации. — Звезда, 1989, № 8, с. 192—193.

² Об этом см.: Сарнов Б. Вечности заложник (Случай Мандельштама). — Огонек, 1988, № 47, с. 27—30.

Сделать такой самоубийственный шаг трудно, почти невозможно любому человеку, но Мандельштам его, в отличие от других писателей, все-таки сделал и потом на допросах не отрекался от него, откровенно, не хитря и не изворачиваясь, почти с детской непосредственностью признаваясь в том, что именно он написал антисоветское стихотворение о Сталине, и рассказывая, кому он его читал и как слушатели на него реагировали¹.

Зная о грозящей ему смертельной опасности², Мандельштам все-таки делает решающий для его судьбы и творчества шаг навстречу своей гибели, ибо без этого шага не мыслит поэтической миссии, не видел перспективы своего творчества. В этот момент он по-своему решил гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» Шаг навстречу гибели не только открывал ему возможность реально вступить в необходимый для него поединок с царством мертвых, но и возможность в ходе этого поединка утверждать и творить жизнь в ее высших духовно-нравственных и эстетических проявлениях, создавать свои лирические шедевры второй половины 30-х годов. Без трагедийного шага, связанного с сатирой на Сталина, не было бы дифирамбов, элегий и од в честь величия жизни и любви, общечеловеческой культуры и высоких устремлений человеческого духа, в том числе таких знаменитых стихотворений, как «Мастерица виноватых взоров...» (1934, по мнению Ахматовой, это «лучшее... любовное стихотворение 20 века») и «Заблудился я в небе, — что делать?» (1937). Последнее стихотворение имеет две редакции. Вот первая из них:

Заблудился я в небе, — что делать?
Тот, кому оно близко, ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков звенеть.

Не разнять меня с жизнью, — ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,

¹ Об этом см.: Огонек, 1991, № 1, с. 17—21.

² См.: Ахматова А. Страницы прозы. М., 1989, с. 24.

Лучше сердце мое разорвите
Вы на синяго звона куски!

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь!

Любое лирическое стихотворение трудно пересказать, не допустив больших потерь в содержании и в тонкости его выражения, а стихотворение Мандельштама при пересказе теряет все, потому что в нем главное — не логический смысл, а разветвленный метафорический образ с богатыми, трудно уловимыми ассоциациями, в данном случае относящимися к великому флорентийцу Данте, к его «Божественной комедии» с ее адом, разделенным на девять кругов. Однако поэтический смысл этого стихотворения не только в богатстве

ассоциаций, но и в строе поэтической речи, в ее эмоциональной раскаленности, в ее тонких и сложных интонационных модуляциях, передающих страстную устремленность поэта к небу, к высотам духа. Противоборствующие начала бытия: небо и ад, жизнь и смерть, дух и материя, свобода и неволя разрывают сердце поэта «на синего звона куски», а поэт в трагедийном экстазе стремится сотворить гармонию стиха, соединяющую полюсы бытия в живой сгусток художественной плазмы, которой суждено после смерти поэта стать эстафетой бессмертной жизни. Так самоистребительно новый Орфей прививал к древу русской жизни и поэзии эстетическое и духовное наследие античности, всей европейской культуры. В трагедийном экстазе Мандельштама нет христианской жертвенности и страдания, а есть орфическое самозабвенное упоение музыкой жизни, преодолевающей смерть и небытие.

Александр Кушнер, особенно хорошо чувствующий жизнеутверждающую сторону поэтического мировосприятия Мандельштама, справедливо отмечает: «Мандельштам — пример доблестного овладения материалом жизни. В самых горьких стихах у него не ослабевает восхищение жизнью. Счастье возникало в момент создания стихотворения, может быть, в самой тяжелой ситуации, и чудо его возникновения поражает больше всего»¹.

Михаил Пьяных

¹ Кушнер А. Выпрямительный вздох. — Ленинградская правда, 1991, 15 января, № 11.

**Ленинградские литераторы,
подвергшиеся незаконным репрессиям
(Тюрьма. Лагерь. Ссылка)
в 1921—1953 годах**

Дитрих Георгий Станиславович	1906—1943
Добычин Леонид Иванович	1894—1936
Дьяконов Михаил Алексеевич	1885—1938
Заболоцкий Николай Алексеевич	1903—1958
Зонин Александр Ильич	1901—1962
Зоргенфрей Вильгельм Александрович	1882—1938
Зуев-Ордынец Михаил Ефимович	1900—1967
Зуккау Герберт Августович	1883—1937
Иринин Михаил Степанович	1908—1936
Калнынь Ян Антонович	1902—1938
Камегулов Анатолий Дмитриевич	1900—1937
Касимов Антоний	1903—1980
Кикутс Петр Рудольфович	1907—1938
Клещенко Анатолий Дмитриевич	1921—1974
Клюев Николай Алексеевич	1887—1937
Князев Василий Васильевич	1887—1937
Колбасьев Сергей Адамович	1898—1937
Корнилов Борис Петрович	1907—1938
Куклин Георгий Иосифович	1903—1939
Лившиц Бенедикт Константинович	1887—1938
Лозинский Михаил Леонидович	1886—1955
Майзель Михаил Гаврилович	1899—1937
Мамин Николай Иванович	1906—1968
Мандельштам Осип Эмильевич	1891—1938

СОДЕРЖАНИЕ

Умирает тот, кто забыт. <i>Захар Дичаров</i>	
Георгий Станиславович Дитрих	
Один из первых. <i>Захар Дичаров</i>	
Леонид Иванович Добычин	
Травля, или репрессия без ареста. <i>Владимир Бахтин</i>	
Михаил Алексеевич Дьяконов	
Путешественник. Литератор. <i>Владислав Шошин</i>	
Николай Алексеевич Заболоцкий	
С глубокой думой. <i>Никита Заболоцкий</i>	
«В похвалу трудам его и ранам. . .» <i>Алла Марченко</i>	
Александр Ильич Зонин	
Из того поколения. <i>Сергей Зонин</i>	
Вильгельм Александрович Зоргенфрей	
Об одном стихотворении. <i>Наталья Грудинина</i>	
<i>Вильгельм Зоргенфрей</i> . Горестней сердца прибор	
Михаил Ефимович Зуев-Ордынец	
Герберт Августович Зуккау	
Три-Зуккау-три. <i>Захар Дичаров</i>	
Михаил Степанович Ирнин	
Вексель не оплачен. <i>Захар Дичаров</i>	
Ян Антонович Калный	
Анатолий Дмитриевич Камегулов	
Двадцать шесть строк. <i>Захар Дичаров</i>	
Антоний Касимов	
Антоний Касимов. <i>Захар Дичаров</i>	
Петр Рудольфович Кикутс	
Анатолий Дмитриевич Клещенко	
Тот август 1941 года. <i>Николай Мартыненко</i>	
Поэт тайги и воли. <i>Лиана Ильина</i>	
Анатолий Клещенко . Мы язык научились держать за зубами	
Бесславный сонет	
Канал имени Сталина	
Николай Алексеевич Ключев	
Гамаюн — птица вещая. <i>Виталий Шенталинский</i>	
Последние дни поэта. <i>Сергей Субботин</i>	
Поэзия и судьба Николая Ключева	
Доли народной певец. <i>Игорь Западалов</i>	
Василий Васильевич Князев	
Как погиб Василий Князев. <i>Лазарь Полонский</i>	
Сергей Адамович Колбасьев	
Никогда! <i>Галина Колбасьева</i>	
Борис Петрович Корнилов	
О «крестном отце». <i>Елена Серебровская</i>	
Так создавалась легенда. <i>В. Саечников</i>	
<i>Борис Корнилов</i> . Продолжение жизни	
Георгий Иосифович Куклин	
Низкий поклон ему от потомков. <i>Аэлита Ассовская</i>	
Бenedикт Константинович Лившиц	
Метафоры ожившей материк. <i>Адольф Урбан</i>	
Михаил Леонидович Лозинский	
Михаил Гаврилович Майзель	

Ректор РЛУ. <i>Захар Дичаров</i>	183
Николай Иванович Мамин	188
Строевой старшина. <i>Александр Алексеев-Гай</i>	189
Осип Эмильевич Мандельштам	200
Орфей в аду. <i>Михаил Пьяных</i>	—
Ленинградские литераторы, подвергшиеся незаконным репрессиям	213

Литературно-художественное издание

Автор-составитель

Дичаров Захар Львович

РАСПЯТЫЕ

Писатели — жертвы
политических репрессий

Выпуск 2

МОГИЛЫ БЕЗ КРЕСТОВ

Редактор *В. В. Винокурова*

Художник *В. Б. Михневич*

Технический редактор *А. Б. Этина*

ЛР № 1616 от 6.09.93.

Сдано в набор 01.11.93. Подписано в печать 27.12.93. Формат 60×84¹/₁₆. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,56. Тираж 2000 экз. Заказ 169.

Книгоиздательство «Всемирное слово».
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 18.

Ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга»
типография № 8 Мининформпечати РФ. 190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!

Вы познакомились с этой книгой. Следующим выпуском серии «Распяты. Писатели — жертвы политических репрессий» явится книга «Палачей судит время». Как и эту — мы сможем ее издать только при общественной помощи. Каждый может стать участником милосердия, как бы ни скромно был его взнос!

Наш счет: Союз писателей С.-Петербурга. Счет 14200700250 в Держинском филиале АО «Банк Санкт-Петербург» МФО 171047. **На книгу «Распяты».**